# Территория команчей

# Артуро Перес-Реверте

Хосе Луису Маркесу

Мигелю Хиль Морено

Хулио Фуэнтесу

В правдивой истории войны никогда нет морали. Она не учит, не вдохновляет, не дает примеров для подражания и не мешает людям заниматься тем, чем они занимались всегда. Если история войны выглядит как мораль, не верьте ей.

Тим О’Брайан. «Что несли с собой те, кто сражался».

## I

## Мост в Бьело-Полье

Встав на колени в кювете, Маркес сначала снял крупным планом нос убитого, а потом все остальное. Правым глазом он приник к видоискателю своего «Бетакама», а левый был скрыт дымком зажатой во рту сигареты. Всегда, когда предоставлялась возможность, Маркес сначала давал крупный план, наведя фокус на что-нибудь неподвижное, а уж потом — общую панораму. Убитый был совершенно недвижен, как бывают недвижны только покойники. Снимая убитых, Маркес сначала давал крупным планом нос и только потом брал в кадр всю фигуру. Это была просто привычка, сродни любой другой, — так гримерши в студии всегда начинают работу над лицом с одной и той же брови. В Торреспанья[[1]](#footnote-1) славился своими фокусировками: монтажеры, обычно молчаливые и циничные, как старые шлюхи, монтируя отснятые им кадры, звали остальных посмотреть. «Смотри, это не вырежи; вот это оставь обязательно», — слышалось то и дело, а застывшие рядом редакторы-практиканты молчали и бледнели: у мертвых не всегда бывают носы.

У этого нос был на месте, и Барлес перевел взгляд с Маркеса на убитого. Тот лежал в кювете, лицом к небу, в каких-нибудь пятидесяти метрах от моста. Репортеры не видели, как этот человек умирал: когда они пришли, он уже лежал тут. На глазок журналисты определили, что солдат часа три-четыре как мертв, — наверное, его убило снарядом: с другого берега, где за поворотом дороги, среди деревьев горело Бьело-Полье, изредка стреляли тяжелые орудия. Это был хорватский солдат, молодой, высокий, русоволосый; глаза у него остались полуоткрыты, а на маскировочной форме осела светлая пыль. Барлес поморщился: при взрывах всегда поднимается туча пыли, и, когда тебя убьют, будешь лежать весь в пыли, потому что стряхнуть ее некому. От взрывов во все стороны разлетаются пыль, камни и железные осколки, и тебя убивает, и ты лежишь, как этот хорватский солдат, один-одинешенек в придорожной канаве около моста в Бьело-Полье. «Потому что мертвые не только недвижны, они бесконечно одиноки, и нет никого в целом мире, кто был бы так одинок, как покойник», — думал Барлес, дожидаясь, пока Маркес снимет убитого.

Он медленно прошелся к мосту. Все выглядело совершенно мирно, не считая горящих крыш за деревьями на том берегу да черной дымовой завесы, поднимающейся к небу. На этом берегу был косогор, тянувшийся до самой кромки леса, слева — поля, где стояла вода, и дорога, за поворотом которой, метрах в ста позади, они оставили свой «ниссан». Мост представлял собой устаревшую металлическую конструкцию — в основании таких мостов обычно две стальные арки — и чудом уцелел после трех лет войны. Глядя на него, Барлес вспомнил игрушечный жестяной мостик своего детства, по которому бегал электрический поезд.

А по этому мосту все утро бежали люди, спасавшиеся от наступающих на Бьело-Полье мусульман. Сначала ехали машины, битком набитые людьми с узлами и чемоданами; потом — запряженные лошадьми телеги, на которых сидели перемазанные испуганные дети; за последними беженцами, которые шли пешком, появились измученные солдаты с потерянным, отрешенным взглядом, те, кому уже все равно, куда идти — вперед или назад. И, наконец, пробежали трое или четверо хорватских солдат; за ними — еще один, поддерживая ковыляющего раненого. И вот последний человек: без сомнения, офицер, сорвавший погоны. В руках он держал автомат Калашникова и два пустых рожка. Маркес снимал их всех, пока они проходили мимо, и, увидев на камере буквы TVE, Телевидение Испании, офицер выругался по-хорватски: «Ti-Vi-Ei Yebenti mater», что в свободном переводе выглядит как «трахнуть вашу мать». На севере Боснии солдаты уже не складывали победно пальцы буквой V и не похлопывали операторов по плечу, как три года назад в Вуковаре или Осиеке. Тогда хорваты еще ходили в хороших: считалось, что на них напали, а роль единственных злодеев в этом фильме досталась сербам. Теперь, кто больше, кто меньше, но все показали, чего стоят — массовые захоронения находили и в том лагере, и в другом, и у каждой стороны нашлось, что скрывать. Yebenti mater или yebenti maiku — слова эти звучали почти одинаково у обеих воюющих сторон, и разница была лишь в том, кто из них поминал эту самую мать. Когда войны затягиваются, разлагая людские души, журналисты вызывают все меньше и меньше симпатии. И тогда из человека, который снимает солдата, чтобы невеста увидела его на телеэкране, ты превращаешься в ненужного свидетеля. Yebenti mater.

Не дойдя до моста метров двадцати, Барлес остановился: из соображений благоразумия он держался на расстоянии. Отсюда хорошо были видны мешки с взрывчаткой, прислоненные к основам моста, и баллоны с бутаном, который должен был усилить мощность взрыва. Провода тянулись по косогору вниз, к кромке леса, куда — на их глазах — ушли хорватские саперы, заложив взрывчатку. Сейчас журналисты не видели их, но саперы были там, дожидаясь минуты, когда придется взорвать мост. В штабе в Черно-Полье один из офицеров, старательно избегая слова «отступление», так объяснил им суть дела:

— Главное, не переходите через мост. Старайтесь все время быть на этом берегу.

На профессиональном жаргоне они называли это «территория команчей». Для военного журналиста территория команчей — это место, где инстинкт подсказывает тебе, что нужно притормозить и дать задний ход. Это место, где дороги безлюдны, а вместо домов обгоревшие развалины; где всегда сумерки, и, плотно прижавшись к стене, ты пробираешься вперед, туда, где стреляют, и слышишь, как битое стекло похрустывает у тебя под ногами. Потому что там, где идет война, земля всегда усыпана осколками стекла. Территория команчей — это место, где у тебя под ботинками все время похрустывает битое стекло и где ты знаешь, что за тобой наблюдают, хотя сам никого не видишь. Где ты не видишь снайперских винтовок, но чувствуешь, что тебя держат на прицеле.

Барлес еще раз оглядел тот берег, деревья, за которыми было Бьело-Полье, и подумал, что сейчас он представляет собой хорошую мишень. Когда из-за поворота покажется первый мусульманский танк или первые мусульманские солдаты, хорваты приведут в действие взрывное устройство и убегут. Замысел, по всей видимости, состоял в том, чтобы сохранить мост до последней минуты на случай, если кому-то из бедняг, отчаянно сражающихся сейчас в деревне, — среди горящих домов еще постреливали, — удастся добежать до реки. На минуту Барлес представил, как эти люди выламывают дощатые переборки, перебегают от дома к дому, волоча за собой раненых и оставляя кровавые следы на крошащейся штукатурке и разбросанном по полу мусоре. Обезумев от страха и отчаяния. Благодаря приемнику «Сони» и работающей на коротких волнах Би-Би-Си журналисты знали, что в соседней деревне мусульманская армия обнаружила массовое захоронение — пятьдесят два мусульманина со связанными руками. А если положить один за другим пятьдесят два трупа, то ряд получится очень длинный. Кроме того, у этих людей есть родные — братья, дети, двоюродные братья; есть те, кто тоскует по ним и кому этот длинный ряд тел, только что поднятых из раскопанных могил, очень не понравится. Поэтому в Бьело-Полье мусульмане не станут тратить времени на то, чтобы брать пленных. Барлес мрачно ухмыльнулся про себя: тот, кто назвал все это «этнической чисткой», понятия не имел, о чем идет речь, — к этнической чистке подходит любое слово, кроме слова «чистая».

На том берегу, в километре от моста, прогремел выстрел из шестидесятимиллиметрового орудия, и Барлес быстро огляделся, прикидывая, где можно укрыться. Если стреляли сюда, то у него было только двадцать секунд, поэтому он решил наплевать на защитную каску, валявшуюся слишком далеко, рядом с Маркесом, и без излишней суетливости, чуть спустившись по косогору, растянулся на земле лицом вниз, поглядывая на оператора. Маркес все еще стоял на коленях возле убитого и, без сомнения, тоже слышал выстрел. Сейчас он задрал голову, словно надеясь разглядеть в небе снаряд.

Они прошли бок о бок не одну войну, и Барлес сразу понял, чем озабочен оператор. Поймать сам момент взрыва очень трудно, потому что ты никогда не знаешь, куда попадет снаряд. На войне они рвутся, где попало — по воле случая и законов баллистики. И нет ничего более непредсказуемого, чем траектория выпущенного наугад снаряда, поэтому можно всю жизнь снимать под сыплющимися тебе на голову бомбами и не снять ни одного стоящего кадра. Это все равно что снимать солдат во время боя — никогда не знаешь заранее, кого убьют, и если удается заснять такой кадр, то чисто случайно, как Энрике дель Висо в восемьдесят девятом в Бейруте. Он снимал группу шиитов, когда по брустверу прошлась пулеметная очередь, и люди попадали. Потом они увидели на пленке оранжевые трассирующие следы, едва не задевшие объектив; Амаля с перекошенным лицом, одной рукой хватающегося за грудь, а другой за оружие; искаженное лицо Барлеса, его рот, застывший в крике: «Давай! Снимай! Снимай!» А люди думают, что ты приезжаешь на войну, достаешь камеру — и готово. Но пули и снаряды пролетают со звуком «фить-джик-бум!», и попробуй угадай куда. Поэтому Барлес увидел, как Маркес, не вставая с колен, поднял камеру и приготовился снимать убитого еще раз: если снаряд разорвется поблизости, оператор быстро переведет камеру и даст общий план — от лица убитого хорватского солдата к поднятой взрывом туче пыли, пока та не успела рассеяться. Барлес надеялся, что включен хотя бы один дополнительный микрофон, — когда идет автоматическая запись звука, фильтр приглушает выстрелы и взрывы, и они кажутся звуковым эффектом, как в кино.

Снаряд разорвался далеко, у кромки леса, и Барлес ухмыльнулся, представив, как перепугались хорватские подрывники. Маркес во время взрыва не шелохнулся и снял только общую панораму, теряющуюся вдали. Потом он медленно поднялся и направился туда, где лежал Барлес. Как-то в Сараево Мигель де ла Фуэнте пытался, как только что Маркес, поймать камерой момент взрыва, и ему на голову посыпались осколки сербского снаряда вперемешку с камнями и здоровенными кусками асфальта. Мигель спасся только благодаря бронежилету и каске, и, наклонившись за большим осколком на память о том, как он был на волосок от смерти, Мигель обжегся о раскаленный металл. В самый кровавый период этой войны, в Сараево, журналисты называли это «заниматься шопингом». Надев бронежилеты и каски, они, когда начинался орудийный обстрел, вплотную прижимались к стенам домов в старой части города. Если снаряд взрывался неподалеку, все бежали туда, чтобы успеть снять тучу пыли, огонь, развалины. Добровольцы вытаскивали пострадавших. Маркес не любил, когда Барлес помогал спасателям, потому что тогда он попадал в кадр и все портил.

— Шел бы ты в санитары, сукин сын.

Слезы мешали Маркесу наводить на резкость, поэтому, когда из-под развалин доставали детей с расплющенными головами, он не плакал, но потом часами молча сидел один где-нибудь в углу. А Пако Кустодио однажды расплакался в сараевском морге, в один из тех дней, когда было двадцать-тридцать убитых и около полусотни раненых. Он вдруг перестал снимать и заплакал, и это спустя полтора месяца, в течение которых Пако ни разу и глазом не моргнул. Потом Пако уехал в Мадрид, а оттуда прислали другого оператора, который, впервые сняв ребенка, разнесенного на куски выстрелом гранатомета, напился и заявил, что с него довольно. Поэтому Мигель де ла Фуэнте сам взял камеру, и ему на голову посыпались камни и куски асфальта, когда он занимался «шопингом» в Добринье — районе Сараево, где ты оказывался под обстрелом, когда шел туда, когда возвращался и пока находился там; в районе, где не уцелело ни одной стены выше полутора метров. Мигель был сильным и жестким человеком, как Пако Кустодио, как Хосеми Хиль Диас в Кувейте, Сальвадоре и Бухаресте, как дель Висо в Бейруте, Кабуле, Хорремшехре или Манагуа. «Все они были жесткими людьми, но Маркес — жестче всех», — думал Барлес, глядя на прихрамывающего оператора. Маркес прихрамывал уже пятнадцать лет, после того как он, работая с Мигелем де ла Куадра, безлунной ночью под Асмарой сорвался в пропасть вместе с двумя эфиопами из Эритреи. Оба партизана погибли, а Маркес полгода пролежал парализованный, потому что его позвоночник рассыпался на составные части; ноги у него не двигались и он ходил под себя. Однако благодаря силе воли и упорству он выкарабкался, хотя никто и гроша ломаного за него не давал. А теперь, когда Маркес появлялся в редакции, люди отходили и издали украдкой поглядывали на него, и не потому, что Маркес был на войне, — просто снятые им кадры были войной.

Не снял я этот взрыв.

Видел.

Слишком далеко.

Лучше слишком далеко, чем слишком близко.

Это была одна из заповедей их ремесла. Так же, как — «лучше тебя, чем меня», и Маркес задумчиво кивнул. С этой дилеммой всегда сталкиваешься на территории команчей: если слишком далеко, то ты не можешь снять; а если слишком близко, то ты уже никому не сможешь об этом рассказать. И когда ты занимаешься «шопингом» под обстрелом, то хуже всего, если снаряды падают не просто слишком близко, а прямо тебе на голову. Маркес положил камеру на землю и присел на корточках рядом с Барлесом; прищурившись, он разглядывал мост. Маркес раздражался, если Барлес или кто-нибудь еще попадал в кадр, когда он снимал детей, погибших под развалинами, хотя порой и он не выдерживал и, отложив камеру в сторону, начинал разбирать завалы. Но случалось это только, когда материал, необходимый для полутора минут экранного времени, отведенного им в «Новостях», был уже отснят. Светловолосого, светлоглазого, крепко сбитого приземистого Маркеса женщины считали привлекательным. Поговаривали, что во время бомбардировки Багдада он переспал с Крошкой Родисио, но это был полный бред: во время бомбардировки, с камерой в руках, Маркес не заметил бы даже черных глаз Орианы Фаллачи в ее лучшие годы — во время событий в Мексике или в Сайгоне, — а Крошке Родисио было далеко до Орианы Фаллачи.

— Мне нужен этот мост, — сказал Маркес; у него был хрипловатый, чуть дребезжащий голос, как у состарившейся птицы трещотки.

Мост этот был нужен им обоим, но Маркесу больше. Именно поэтому они тут и торчали, а не ушли вместе со всеми, хотя времени до второго выпуска «Новостей» оставалось в обрез — меньше трех часов, и не меньше пятидесяти минут из них должно было уйти на то, чтобы по разбитым дорогам добраться до места трансляции. Но Маркес хотел снять этот мост, а Маркес был упрямым типом. Он почти никогда не надевал ни бронежилет, ни каску, потому что они мешали ему работать с камерой. И каждый день они обменивались репликами по этому поводу.

— Мне, в общем-то, наплевать, — расставлял акценты Барлес. — Но если тебя убьют, я останусь без оператора.

В отместку Маркес заставлял его записывать текст в самых неудобных местах — там, где трудно сосредоточиться на микрофоне, потому что внимание твое занято тем, что... может произойти в следующую секунду, а не тем, что... ты говоришь. «Мы находимся», — джик-джик! — «подожди, давай сначала. Мы находимся в... Нормально?» Три года назад в Борово-Населье Маркес пять минут продержал Барлеса на линии огня в ста метрах от сербских позиций, заставив его трижды повторить текст, хотя все прекрасно записалось с первого раза. Ядранка, их хорватская переводчица, сфотографировала Барлеса и Маркеса, когда они возвращались к машине: на дороге повсюду осколки снарядов, неподалеку — раскореженный сербский танк, Барлес что-то раздраженно объясняет Маркесу, а тот шагает с камерой на плече, давясь от смеха.

Им обоим нравилась такая жизнь, оба ценили своеобразный юмор — грубоватый, жесткий и язвительный.

Текстовые заставки... Проблема состоит в том, что военные репортажи для телевидения нельзя делать, сидя в гостинице, — необходимо отправиться туда, где происходят события. И вот ты добираешься до места, встаешь перед «Бетакамом», ты в кадре, стараешься держаться раскованно и начинаешь говорить. Если идет стрельба и слышно, как пули свистят над твоей головой, текст выигрывает, но очень часто именно из-за шума он никуда не годится и приходится все начинать сначала. Он никуда не годится и в том случае, если ты вклиниваешься посередине, то есть если ты говоришь: «Сегодня утром сильно ухудшилась ситуация в секторе Витеж», — и тут совсем рядом раздается взрыв, — бух! — и вместо того, чтобы сказать «в секторе Витеж», ты говоришь «в секторе... мать твою». А иногда ты совсем пустой и стоишь, глядя прямо в камеру, как последний идиот, и не можешь выговорить ни слова, потому что только ты раскрыл рот, как в голове у тебя что-то заклинило, словно там только что отформатированный жесткий диск. А потом ты приезжаешь в тыл или в Мадрид, и всегда находится кретин, который спрашивает, неужели выстрелы в твоих материалах были настоящие? И ты не знаешь, то ли принять это за шутку, то ли вышибить ему все мозги к чертовой матери. Однажды Мигель Гонсалес из газеты «Эль пайс» в присутствии Маркеса заявил, что ему доподлинно известно — Барлес платит солдатам, чтобы те стреляли, когда он произносит перед камерой свой текст, как будто на войне за выстрелы надо платить. Мигель Гонсалес был из тех, кто появляется на войне только наездами, и не знал, что Маркес обычно работал вместе с Барлесом. Поэтому «Ах ты, хуеныш» было самым ласковым из всего, что он услышал в ответ. «Да, мы платим, — платим и раненым, чтобы они позволили себя ранить, и убитым, чтобы они разрешили себя убить. И расплачиваемся всегда по карточке „Американ экспресс“, так что давай, не теряйся, не упусти свое счастье».

В бывшей Югославии было полным-полно визитеров. Испанские миротворцы называли их «японцами», потому что те приезжали, фотографировались и отбывали — по возможности тут же. Кто только не побывал в Боснии: депутаты парламентов, министры, премьер-министры, вечно спешащие журналисты и любители раздувать щеки всех мастей. Вернувшись в цивилизованный мир, они организовывали концерты в знак солидарности, устраивали пресс-конференции и писали книги, объясняя человечеству глубинные причины этого военного конфликта.

В Сараево побывал даже юморист Педро Руис — в бронежилете и с видом отчаянного храбреца. В среднем эти экскурсии продолжались от одного до трех дней, но этого времени им вполне хватало, чтобы понять суть происходящего. Приезжаешь из Мостара или Сараево, весь в грязи, как свинья, вылезаешь из бронированного «ниссана» и натыкаешься на них: они сидят в холлах гостиниц Медугорья или Сплита в бронежилетах и с выражением неустрашимой отваги на лицах, рискуя своей головой за пятьдесят, а то и за двести километров от того места, где стреляют. В плохие минуты Барлес вспоминал омбудсмана Маргариту Ретуэрто в каске испанских миротворцев, в которой она была похожа на куклу Барби: «Счастливого Рождества, мальчики, тю-тю-тю, надеюсь, вы скоро будете дома», — а какой-то распоясавшийся легионер из задних рядов кричал ей, что она тетка еще вполне ничего, годится. Или разочарование старого приятеля Пако Лобатона, приехавшего в Боснию на съемки очередного выпуска своей передачи «Кто знает, где...», когда Барлес объяснил ему, что выстрелы, которые тот слышал ночью, всего лишь выходка загулявших хорватов, встречавших Новый год и напившихся ракии, а настоящая война идет в пятидесяти километрах севернее, в Мостаре, куда Пако, естественно, не выразил ни малейшего желания отправиться.

Среди визитеров попадались и высокопоставленные военные чиновники, приезжавшие с инспекциями типа «привет, ребята, ну как вы тут» и далее по тексту. В Боснии их сразу узнавали по фотоаппарату, отеческому виду, а главное, по одежде — новая и безупречно чистая военная форма, защитные каска и бронежилет высшего класса защиты. Они поднимались в траншеях во весь рост и требовали, чтобы им объяснили, где находятся позиции противника. Или упрямо ступали по обочине и тропинкам, словно желая проверить, не осталось ли там неразорвавшихся мин. Однажды в бронированную машину, в которой ехали Маркес и Барлес, попали две пули снайпера из-за испанского подполковника: ему вздумалось остановить машину, чтобы сфотографироваться. Они тут же услышали характерное «джик-джик», а этот тонкий стратег удивленно спрашивал, не в них ли это стреляли. В тот день за рулем сидел Ормаэчеа, сын председателя правительства Страны басков, приехавший в Боснию добровольцем, и Маркес с Барлесом слышали, как он на все лады поносил по-баскски этих подполковников, мать их растак, пока капитан Варгас прикрывал визитера с автоматом в руках, а Маркес готовил камеру, чтобы быть во всеоружии, если подполковник наконец получит то, на что он так упорно нарывался.

— Похож на Красавчика, — сказал Маркес, показывая на убитого.

Тот, действительно, как две капли воды был похож на другого солдата, вместе с которым они несколько недель назад пробирались через кукурузные заросли под Витежем, чтобы снять, как он будет взрывать бронетранспортер ручной противотанковой гранатой РПГ-7. Как и этот убитый, тот парень был похож на киноактера, и они звали его «Красавчиком». Пробираясь через кукурузу, парень, к их ужасу, наступил на мину, которая не взорвалась, потому что это была ТМБ, русская противотанковая мина, и ей нужно давление в сто восемьдесят килограмм, чтобы сказать: «А вот и я!». Но лежавший в кювете не мог быть Красавчиком, потому что этот был хорватом, а тот — мусульманином. К тому же на следующий день после случая в кукурузе Красавчик наступил на другую мину, на сей раз противопехотную, которой нужно всего девять килограмм, чтобы взорваться, что она и сделала, как только парень поставил на нее ногу. Есть люди, которые рождаются, чтобы наступать на мины, и случай с Красавчиком объяснялся просто предназначением: он был рожден, чтобы наступать на мины.

Но нельзя не признать, что у мин зловредный характер. Если говорить о журналистах, то на минах подорвались Дики Чейпл, Роберт Капа и еще пропасть народу. Первый подорвавшийся на мине человек, которого увидел Барлес, был журналистом. Это было в семьдесят четвертом, во время турецкого вторжения на Кипр, когда Аглае Мазини переспала с Глефкосом, корреспондентом «Таймс», в коттедже около бассейна гостиницы «Ледра палас» в Никозии, не обращая внимания на стрелявший неподалеку танк. До того как стать корреспонденткой «Пуэбло», Аглае была партизанкой движения «Тупак Амару» и потеряла руку, но она отлично управлялась и с одной. Красивая, смелая, она пила, как казак, и в семидесятые годы о ней ходили легенды по всему Восточному Средиземноморью; поэтому Фольк Шлендорф, снимая фильм о войне в Ливане, сделал Аглае прототипом своей героини, которую играет Ханна Шигулла. А журналиста, который погиб, подорвавшись на мине, звали Тед Стэнфорд. Он вылез из машины по малой нужде и, сойдя с шоссе, ведущего в Фамагусту, наступил на мину — как раз когда расстегивал ширинку. Взрывом его ботинок отнесло в сторону, и Барлес вспоминал, как он — тогда ему только исполнилось двадцать два, и это была его первая война, — вдруг увидел у себя в руке ботинок Теда и не знал, что с ним делать.

— Гранатомет, — объявил Маркес и опустился на землю, заслонив собой камеру.

На этот раз Барлес не слышал выстрела, но Маркесу он доверял больше, чем себе. В Ябланице, когда они неделю жили с испанскими миротворцами, Маркес на глазах Барлеса по дрожанию стекол определял, что на расстоянии нескольких километров от них выстрелило артиллерийское орудие: они находились в долине, и звуковая волна настигала их на четыре-пять секунд раньше, чем снаряд, — этого времени хватало, чтобы броситься на землю. В этом отношении Маркесу цены не было: однажды под Вуковаром, посмотрев на траву, не примятую колесами, он догадался, что дорога заминирована. В другой раз, на окраине Осиека, неподалеку от линии фронта, когда они шли по безлюдной улице — каждый по своей стороне, — Маркес вдруг остановился, взглянул на ближайший дом и крикнул Барлесу что-то вроде: «Мы влипли!» — снайпер выстрелил в ту секунду, когда каждый из них метнулся в ближайший подъезд.

На этот раз снаряд взорвался ближе, рядом с опорой моста, подняв тучу брызг. Маркес внимательно посмотрел на кромку леса, застегнул бронежилет, который обычно носил расстегнутым, и положил руку на камеру. Они с Барлесом прекрасно понимали, что значит эта орудийная стрельба: мусульмане расчищали дорогу, готовясь перейти на этот берег. Но еще раньше хорватские подрывники взорвут мост, предварительно убедившись, что никто из своих не спасся и не воспользуется мостом для отступления. Странно, что они не сделали этого до сих пор.

Только из-за этого моста журналисты и торчали там, растянувшись на косогоре. Барлес и Маркес работали на территории бывшей Югославии уже три года, и у них набралась приличная коллекция кадров, запечатлевших мосты до взрыва и после — они снимали в Мостаре, Каплине, Бьеле, Вуковаре, Дубице, Петринье. Они отсняли мосты всех цветов, материалов и размеров; они снимали мосты, отступая по ним под обстрелом вместе с беженцами, когда сербы, хорваты или мусульмане наступали им на пятки, иногда они снимали один и тот же мост два раза за день — по дороге туда и по дороге обратно. Мостов у них было навалом. Проклятая Босния была вдоль и поперек изрезана реками и конструкциями из металла и бетона, чтобы переходить их. Но для обоих — главным образом, для Маркеса — мост в Бьело-Полье был особенным. Как они говорили, это был всем мостам мост.

## II

## Много танк, tutto[[2]](#footnote-2) kaputt

Мосты превратились в навязчивую идею Маркеса три года назад, осенью девяносто первого, когда он упустил взрыв моста в Петринье, а Кристиан Аманпур из Си-Эн-Эн опоздала на войну. Маркес снял десятки мостов — до взрыва и после, но ни разу ему не удавалось поймать камерой тот момент, когда мост взлетает на воздух. Впрочем, пока этого не сумел сделать ни один профессиональный оператор на территории бывшей Югославии. Кажется, чего проще — заснять мост в тот момент, когда он говорит: «Всё, прощайте», но это только кажется. Для начала надо оказаться рядом в эту минуту, что не всегда возможно, а кроме того, люди обычно не объявляют громогласно о своем намерении что-то взорвать. Они просто закладывают взрывчатку, приводят в действие подрывное устройство — и готово. С другой стороны, даже когда ты знаешь — или подозреваешь, — что вот-вот будет взрыв, надо держать камеру наготове и снимать. Другими словами, надо не просто быть там, надо быть там и снимать. А этому может помешать бесчисленное множество причин. Например, ты ранен, или снаряды падают один за другим и невозможно поднять голову. Или военные, от которых зависит взрыв, не разрешают тебе снимать. К тому же, согласно известному закону Мэрфи — бутерброд всегда падает маслом вниз, — мосты взлетают на воздух именно тогда, когда твоя камера выключена. Впрочем, большинство стоящих вещей на войне происходит, когда камера выключена, когда ты меняешь кассету, когда ты на минуту отлучился к машине, потому что батарейки сели, или когда ты расстегиваешь ширинку, как Тед Стэнфорд. Поэтому старина Мэрфи — неразлучный спутник всех военных корреспондентов. К нему часто обращаются как к еще одному члену съемочной группы. Часто вспоминают и мать его.

— Как у тебя с батарейками? — спросил Барлес.

Маркес посмотрел на индикатор и утвердительно кивнул: батареек должно хватить, если дело не слишком затянется. Он не собирался рисковать и выключать «Бетакам»: ведь мост мог взлететь на воздух раньше, чем пройдут восемь секунд, необходимые для включения камеры. По другую сторону дороги, в кювете рядом с убитым, похожим на Красавчика, лежали каска и рюкзак Барлеса, в котором были батарейка, запасная кассета и микрофон для записи. Этого было достаточно, но в «ниссане», который они оставили на дороге за фермой, хранился дополнительный запас. Съемочные группы телевидения вынуждены возить с собой до черта много вещей, и это очень неудобно, особенно если приходится сматываться поскорее. Поэтому Барлес иногда с тоской вспоминал те двенадцать лет, которые он проработал спецкором газеты «Пуэбло» и мог прожить в Африке или на Среднем Востоке три месяца, обходясь только спальным мешком и тем, что умещалось в болтающейся на плече сумке.

Он увидел, что Маркес устраивается на косогоре поудобнее, располагая камеру так, чтобы в кадр попал весь мост, и, припав глазом к видоискателю, делает пробные кадры: мост крупным планом, мост издали, общий вид слева направо и общий вид справа налево. Потом он чуть приподнялся и огляделся: Барлес понял, что Маркес прикидывает, куда полетят обломки, когда мост взлетит на воздух.

— Слишком близко, — сказал Маркес.

Они отползли метров десять в сторону по косогору и снова заняли свои позиции. Маркес еще раз сделал пробные кадры и, кажется, остался доволен. Стрельба в Бьело-Полье начинала стихать.

Три года назад в Петринье Маркес чуть было не снял свой мост. Они прошли по нему и оказались в деревне в самый разгар сербского наступления, когда последние хорватские солдаты бежали, спасаясь от танков федеральной югославской армии. Стоя посреди главной улицы, Барлес записывал текст, придумывая на ходу что-то вроде: «Петринья вот-вот будет сдана», и дальше в том же духе, когда мимо них пробежали несколько хорватских солдат. Один из них, толстяк в каске пожарника и с охотничьим ружьем, остановился перед камерой и сказал, мешая итальянские и хорватские слова:

— Много танк, tutto kaputt. Nema soldati y nema[[3]](#footnote-3) ничего. Yo sono[[4]](#footnote-4) последний, и я ухожу.

Именно так он и сказал, дословно. И тут из-за угла выполз сербский танк, и Маркес, стоя посреди улицы, заснял, как трассирующие пули, пролетев у него между ног, попали в человека, растянувшегося на земле с РПГ-7 в руках и целившегося в танк. Все побежали, всё смешалось, — раненый корчился, истекая кровью; Барлес попал в кадр — «шел бы ты в санитары, сукин сын», — когда пытался наспех перевязать его. Прогремел танковый залп почти в упор, и в кадре не осталось никого, даже подпрыгивающего на одной ноге раненого, — и только Маркес, начавший с крупного плана раздробленной ноги, невозмутимо снимал общим планом все происходящее. Через несколько часов весь мир увидит эти кадры и будет потрясен. Телевидение Испании почти год будет использовать их для заставок своих информационных передач, но в ту минуту Барлесу и Маркесу было глубоко наплевать на все информационные передачи. Они просто бросились бежать вместе со всеми к мосту, спасаясь от ползущего прямо на них танка. Так быстро Барлес бегал только один раз, в восемьдесят втором, от израильских танков, шедших по прибрежному шоссе между Сайдой и Бейрутом; тогда Ману Легинече решил, что Барлеса убили, и обходил больницы, разыскивая «подстреленного испанца». Но после Сайды прошло десять лет, и у Барлеса, у Маркеса, да и у самого Ману ноги были уже не те, и, перебежав через мост в Петринье на другой берег, они совсем запыхались. Около моста лежало столько взрывчатки, что хватило бы на загребский собор. Маркес растянулся на земле и приготовил камеру.

— Мне нужен этот мост, — сказал он.

Но ничего не вышло. Взрыв все откладывался и откладывался, а времени до выхода в эфир оставалось в обрез: они могли не успеть к выпуску «Новостей». Поэтому через двадцать минут им пришлось уехать, а мост все еще оставался целехоньким. Вот тогда-то и появились Кристиан Аманпур из Си-Эн-Эн и ее оператор Руст, здоровенный парень, невозмутимый и приветливый, который прошел всю вьетнамскую войну военным моряком.

— Не повезло вам, ребята, — сказал Маркес. — Войны больше не осталось.

И это была чистая правда: Барлес и Маркес оказались единственными журналистами, снявшими отступление из Петриньи. Кристиан и Руст вместе с ними вернулись в Загреб и уговорили Маркеса и Барлеса уступить им несколько кадров в обмен на возможность воспользоваться их оборудованием в гостинице «Интерконтиненталь», чтобы смонтировать видеозаписи. Руст был добродушным парнем и потом, скучными вечерами в гостинице «Холидей инн» в Сараево, со смехом вспоминал, как Маркес заявил: «Войны больше не осталось».

И Кристиан Аманпур любила вспоминать этот случай, потягивая одно виски за другим при свете свечей в Сараево, когда все снаружи сотрясалось от ударов сербской артиллерии, а Поль Маршан предпринимал безуспешные попытки затащить ее к себе в номер. Маршан был независимым журналистом и работал для нескольких французских радиостанций. Он прожил в боснийской столице дольше других журналистов, мог достать что угодно на черном рынке и разъезжал на старой машине, испещренной пулями, на борту которой было написано: «Не утруждай себя понапрасну и не стреляй — я неуязвим». Но это оказалось не так: в конце девяносто третьего пуля калибра 12,7 раздробила ему кость руки. Точнее всех выразился корреспондент «Фигаро» Ксавье Готье, сказавший, что локтевой сустав и радио Маршана превратились в манную крупу.

Что же касается моста в Петринье, то он взлетел на воздух в тот же день, через два часа после того, как Маркес сказал Кристиан и Русту, что войны больше не осталось. Но поблизости не оказалось ни одного оператора, который мог бы увековечить эту минуту. Маркес не мог себе этого простить и с тех пор повсюду искал мост, который можно было бы снять в момент взрыва. Это стало его навязчивой идеей, — точно так же в Багдаде он поднимался на верхний этаж гостиницы «Аль-Рашид» и сидел там часами, дожидаясь, пока мимо пролетит выпущенная с крейсера ракета «Томагавк», чтобы заснять ее. Ему было безразлично, пойдет ли этот кадр в эфир, — Маркеса вел охотничий инстинкт: поймать камерой это мгновение.

Время тянулось медленно. Взглянув на индикатор батареек «Бетакама», Барлес поднялся.

— Я пошел за рюкзаком, — сказал он.

Он пересек дорогу, напряженно прислушиваясь, стараясь двигаться быстро и не останавливаться: солдаты мусульманской армии, без сомнения, уже заняли позиции на том берегу. Солнце стояло высоко, в бронежилете было жарко и тяжело, но Барлес не решался снять его. Сделай он это, и какой-нибудь скучающий снайпер с удовольствием подтвердит истину, высказанную стариной Мэрфи: бутерброд всегда... и так далее. Если на войне может случиться что-то плохое, оно обязательно случается.

«Да, — подумал он, — судьба». Повезло, если генерал Лоань выстрелом в голову убивает вьетконговца в день праздника Тет, и этим вьетконговцем оказываешься не ты, а фотограф, и все происходит прямо перед твоей камерой. Или если ты снимаешь Билла Стюарта в Никарагуа в ту минуту, когда сомосовец приказывает ему встать на колени и выстрелом в упор приканчивает его. Повезло, если при съемках в Сараево пуля попадает тебе в горло и проходит навылет, не задев жизненно важных органов, как это было с Антуаном Дьёри. Или если ты подрываешься на мине с камерой в руках, как Коринн Дюфка, и погибают все, кроме тебя. Не повезло, если ты, скажем, заблудился и свернул не на ту дорогу, как Жиль Карон в Пико-дель-Пато. Или если ты вместе со съемочной группой Эн-Би-Си выходишь в Сайде из машины с зачехленным треножником для съемок, а артиллерист израильского танка принимает его за ракету. Не повезло, если тебя убивают, как Корнелиуса в Сальвадоре, когда ты влюблен в девушку, которая работает вместе с тобой звукооператором. Или если ты разобьешься на машине, как Алпайс, после того как прошел тридцать войн без единой царапины. Но, несмотря на все это, несмотря на то, что невезенье действительно существует, мало кто из бывалых репортеров верит в него. На войне гораздо важнее закон вероятностей: с этим кувшином столько раз ходили к источнику за водой, что ему пора разбиться. Есть много способов найти свою смерть в горячих точках, но основными являются три.

Первый — это когда выпадает твой номер, как в лотерее. С этим ничего нельзя поделать, и если пришла твоя очередь, — значит, пора. Ничего нельзя поделать с невезеньем в чистом виде там, где дело касается работы или здоровья, — с ним можно только смириться. Живым примером тому был Мануэль Ортис, независимый аргентинский фотограф, работавший на территории бывшей Югославии с самого начала конфликта. У него всегда было пусто в карманах, и он жил в долг, надеясь когда-нибудь сделать снимок, благодаря которому разбогатеет и решит все свои проблемы. Но все знали, что Мануэлю никогда не сделать такого снимка, потому что у него была удивительная способность оказываться всегда в ненужном месте в ненужное время. Так, когда в Загребе складывал оружие гарнизон казармы имени маршала Тито, Мануэль находился в Сисаке, где не происходило ровным счетом ничего. Но если он отправлялся в Ясеновац снимать сербское наступление, то линия фронта перемещалась, например, в Сисак. Если Мануэлю выпадала возможность снять кадр, который мог бы принести ему славу и деньги, то у него оканчивалась пленка или его аппаратуру отбирали на контрольно-пропускном пункте. Однако это совсем не значило, что племя специальных корреспондентов не принимало Мануэля в расчет как заядлого неудачника. Наоборот, все с удовольствием оплачивали ему выпивку, мимоходом интересуясь его планами:

Ты завтра куда, Мануэль?

Да вот собираюсь поглядеть, что происходит в Пакраче.

И все тут же исключали Пакрач из своих завтрашних маршрутов. Но как бы там ни было, со своим невезеньем за плечами Мануэль уже три года находился в зоне конфликта — Вуковар, Сараево, Мостар — без единой царапины, а этим не каждый мог похвастать. Вот, например, съемочная группа датского телевидения в течение целой недели была предметом дружной зависти всех журналистов, расположившихся в загребской гостинице «Интерконтиненталь», потому что им всегда удавалось оказаться в самой гуще событий, и они возвращались с превосходным материалом. И так продолжалось до тех пор, пока в Горне-Радицы они не высунулись из укрытия, чтобы снять всю панораму, и не упали оба с простреленными головами, поскольку касок они не надели. Дело в том, что везенье — понятие очень относительное. Как сказал Мануэль, когда ему сообщили об этом (он сидел за рюмкой в баре гостиницы «Экспланада»): «Лучше не снять никакого фото, чем снять последнее».

Барлес прекрасно знал, что если исключить фактор везенье-невезенье, то все равно остаются еще, по меньшей мере, две возможности найти свою смерть в местах вооруженных конфликтов. Первая — когда человек только приехал и еще не умеет как следует двигаться. Половина погибает, едва приступив к работе и не успев получить необходимые навыки: например, отличать звук только что выпущенного снаряда от приближающегося. Не успев узнать, как пройти по улице, обстреливаемой снайперами; не выучив, что нельзя останавливаться на фоне оконных и дверных проемов; не поняв, что там, где слишком много стреляют, людям наплевать на то, что ты журналист. Другими словами, ты приезжаешь, приступаешь к работе, — и тебя убивают, как Хуанчу Родригеса в Панаме или Жорди Пужоля в Сараево, когда он вместе с Эриком Хауком делал снимки для журнала «Авуи». Или как Альфонсо Рохо в Никарагуа, где сомосовцы твердо решили расстрелять его и осуществили бы свое намерение, не выбросись он на полном ходу из грузовика, когда со связанными за спиной руками его везли к месту расстрела. Альфонсо тогда больше всего возмущался тем, что ему говорили: «Сейчас мы наденем тебе белые тапочки, и ты отправишься путешествовать», что свидетельствовало о явном неуважении к человеку, который вот-вот простится с жизнью. Но время все сглаживает, и Альфонсо говорил, что больше не держит зла на сомосовцев. Но все-таки, сколько бы крику ни поднимали все эти визитеры и трепачи, журналиста на войне почти никогда не убивают специально — он погибает, выполняя свою работу там, где люди все время стреляют, где царит полная неразбериха и где полным-полно вооруженных проходимцев, у которых нет ни времени, ни желания разглядывать твои документы. Таковы правила игры, и Альфонсо, Барлесу, Маркесу, Ману и всем, кто долго занимался своим ремеслом и сумел уцелеть, это было известно лучше, чем кому-либо другому.

Ну, и главная возможность умереть в таких местах — и с ней ты сталкиваешься чаще всего — связана с законом вероятностей. Согласно этому закону, по истечении определенного времени приходит твоя очередь. В Сараево, в конце девяносто второго, все сходились на том, что Манучер, фотограф агентства Франс Пресс, уехал именно тогда, когда должен был вытащить роковой номер. За день до отъезда он спускался по лестнице вместе с несколькими боснийцами, и прямое попадание сербского снаряда обрушило целый пролет, похоронив под обломками всех боснийцев, а Манучер застыл на уцелевшей верхней ступеньке, занеся ногу над пустотой, как кот Сильвестр в известном мультике. А после обеда, когда Манучер отдыхал в своем гостиничном номере, осколок снаряда угодил прямо в середину его кровати — именно в ту минуту, когда Манучер встал попить. Он был французом иранского происхождения и благодаря восточному фатализму отличался невозмутимой смелостью и бесстрашием, однако известие о своей замене встретил с явным облегчением, потому что — как Манучер признался, стоя рядом с самолетом, — он был уверен, что вот-вот вытащит роковой номер. И Пако Кустодио незадолго до отъезда из Сараево пришел к такому же выводу, с самым серьезным видом делая при свете карманного фонарика в гостинице «Холидей инн» какие-то расчеты в своем блокноте. Это было осенью девяносто второго, когда бомбили почти непрерывно, люди гибли в очередях за хлебом, и в среднем убивали или ранили по одному журналисту каждые шесть дней. Они попали даже в Мартина Белла из Би-Би-Си, а его оператор все это снимал в прямом эфире, и это было все равно, что приехать в Рим и подать Его Святейшеству свечу во время папской службы. Барлес вспомнил, как Кустодио показывал ему испещренный каракулями блокнот, и свет карманного фонарика отражался в стеклах его очков. «А плюс Б равно В. Очередь каждого приходит через столько-то дней. Мы здесь уже сорок пять дней и в среднем проводим на улице по двенадцать часов в день. В нас стреляли столько-то снайперов и на нас сбросили столько-то бомб. Поэтому можешь заказать еще виски, и плачу я, потому что я уезжаю отсюда».

Уехать... Поступок Кустодио был продиктован здравым смыслом; пробыв в этом аду месяц с лишним, он уже мог никому ничего не доказывать. Другие так долго не выдерживали: Мигель по прозвищу Ламанчец в феврале восемьдесят седьмого в Абу-Хауде с ума сходил, думая о своей новорожденной дочери, и если раздавался выстрел, то камера начинала плясать у него в руках, поэтому Барлесу пришлось делать репортаж для «Главных событий», пользуясь материалом, не пошедшим в прошлой передаче. У других ехала крыша, как у Начо Айлона, звукооператора, работавшего с Кустодио и с Барлесом в Мозамбике в марте девяностого. Начо чуть не свихнулся от ужаса в ту ночь, когда пьяные партизаны хотели убить их, чтобы забрать часы и ботинки, а командир приказал оставить ему этого голубоглазого парнишку. Другие вообще сходили с катушек, как Маноло Овалье в Бейруте. Всю жизнь он работал вместе с Мигелем де ла Куадра в горячих точках, и ни одна пуля его не брала, но однажды Маноло увидел обезглавленных накануне шиитов, после чего забился к себе в номер в гостинице «Александр» и заявил, что не поедет в Бикфайя, где проходила линия фронта, пока ему не дадут гарантий. «Гарантий чего?» — насмешливо спросил его Энрике дель Висо, когда они поднялись к Овалье в номер. И тот вытащил фотографию своей жены и детей. А теперь Овалье, чтобы свести концы с концами, торгует сапогами марки «Панама-Джек» и строит из себя безумного храбреца. «Бейрутский тигр» звали его те, кто знал об этой истории.

Барлес посмотрел на правый берег реки, где все еще горели крыши Бьело-Полье. Он представил себе, что пожирает сейчас огонь: книги, мебель, фотографии, человеческие жизни. После пожара в сараевской библиотеке Барлес, глядя на горящий дом, всегда представлял себе, что находится внутри. Библиотека в Сараево загорелась осенью девяносто второго, когда уехали Манучер и Кустодио, а за ними еще пропасть народу, и их сменили другие. В среднем все они оставались по две недели, но некоторых ранили или убивали сразу, и их так поспешно увозили, что никто даже не успевал выяснить их имен. Барлес вспомнил оператора из агентства Эй-Би-Си, которому, когда тот только ехал из аэропорта, снайпер засадил разрывную пулю в почки, попав точно между двумя большими буквами Т и V на его микроавтобусе. И двух молодых французских фотографов, которых никто не знал, потому что они были вольными стрелками и никого не представляли; ребята собирались делать свой первый военный репортаж. Они прилетели в десять утра на грузовом самолете ООН, а в одиннадцать одного из них уже ранило выстрелом из гранатомета, поэтому его отправили в Загреб тем же самолетом, на котором он прилетел. Его коллега, робкий рыжеволосый парень по имени Оливер, два дня бродил по холлу гостиницы «Холидей инн» в полной прострации, будучи не в состоянии ни работать, ни общаться с кем-нибудь. Так продолжалось до тех пор, пока над ним не сжалился Фернандо Мухика из «Эль мундо»: он напоил Оливера и проговорил с ним всю ночь напролет. Свой милосердный поступок Мухика оправдывал так: «Плохо быть неизвестным фотографом, которого ранят сразу по приезде в Сараево, но еще хуже быть неизвестным другом неизвестного фотографа».

Барлес всегда улыбался, вспоминая Фернандо Мухику, с которым познакомился почти двадцать лет тому назад, в Эль-Аюне. Фернандо был высоким, светловолосым баском, добрым и веселым. Когда он только появился в Сараево и ехал с ними на машине по неосвещенному ночному городу, а с неба сыпались бомбы, одна из них упала на стоящий впереди грузовик, и, проезжая мимо объятой пламенем машины, Фернандо спросил: «Но ведь это не по-настоящему, правда? Вы это подстроили, чтобы напугать меня!»

Барлес чуть задержался в кювете: убитый, похожий на Красавчика, лежал все так же, только мух, пожалуй, стало больше. «На самом деле, — подумал Барлес, — все мертвые ужасно похожи друг на друга». Когда он начинал вспоминать и перед глазами его возникали убитые, они были настолько похожи, что казалось — это один и тот же человек, а меняются только обстановка и положение тела.

Иногда эти образы смешивались в его памяти, и тогда Барлес не мог сказать, когда и где именно видел каждого из них. Одних он знал, других — нет: Кибреаб, Белали, Альберто, Язир. Эфиопы из Эритреи, погибшие на горе под Тессенеи, паренек из Эстели, Жорж Карам в Ашерафиехе, иранцы на реке Карун, Педро Аристеги в Хадате, сандинистка Мария Асунсьон в Пасо-де-ла-Егуа, Ясмина в сараевском морге, обуглившиеся тела солдат Национальной гвардии с часами «ролекс» на запястье на шоссе в Басоре. Барлес вспомнил, как в Нджамене он заглянул в подбитый танк и увидел внутри ливийского солдата, совсем молоденького — тот казался спящим, а внизу, под ним, растекалась огромная лужа крови, много литров крови. Такой настоящей, такой алой крови Барлес никогда раньше не видел; он открыл все люки, чтобы было больше света, и снял убитого. В тот же день Барлес сделал еще один снимок, который потом был напечатан на первой полосе «Эль пуэбло»: два партизана и убитый вражеский солдат. Один партизан победно сложил пальцы буквой V, а второй поставил ногу на голову убитого, как охотник, подстреливший зверя. А может быть, этот снимок был сделан в другой день; может быть, он вообще был сделан на другой войне. Может быть, убитый был не из Чада, а из Эфиопии; может быть, это происходило не в Нджамене, а в Тессенеи в Эритрее: там четвертого апреля семьдесят седьмого Барлес полчаса провел на горе, где, куда ни глянь, повсюду лежали тела убитых. Когда Барлес отснял последнюю пленку и, убрав фотоаппарат, огляделся, ему стало так страшно, что он не сошел, а бегом припустился вниз, словно боялся уже никогда не вернуться в мир живых.

Как бы там ни было, Барлес был доволен, что уже десять лет работает для телевидения, а его старые «Пентаксы» валяются в дальнем углу шкафа, — пусть лучше снимают другие.

Он все еще стоял около убитого. Карманы у того были вывернуты: наверное, его товарищи, прежде чем уйти, проверяли, не осталось ли патронов, денег и сигарет. Барлес ногой отогнал мух от лица, но они тут же вернулись обратно. На секунду Барлес представил, как ждут этого человека где-то. Убитый молод — наверное, его ждет мать, а может быть, невеста. В любом случае этот кто-то, ждущий письма или весточки, приникший сейчас к радиоприемнику — «В Центральной Боснии идут ожесточенные бои», — еще не знает, что тот, о ком он думает, превратился в плоть, которая уже начала разлагаться под солнцем на шоссе, соединяющем Бьело-Полье и Черно-Полье. Каждый убитый — всегда залог страданий и горя для того, кто ждет тебя и не знает, что ты уже мертв.

Барлес повернулся к убитому спиной и направился к Маркесу, держа в руках рюкзак и каску. В любом случае — черные, белые, желтокожие, к какому бы лагерю они ни принадлежали — все убитые, которых Барлес мог вспомнить, были на одно лицо, и все войны сливались в одну — и не только в его памяти, но и в памяти других. Однажды Барлес проверил это: в передачу «События недели» о войне в Анголе, где убитые были чернокожими, он вставил несколько кадров из пленки, снятой два года назад в Сальвадоре, где убитые были белыми. Антолин, монтажер, очень волновался, но никто ничего не заметил.

## III

## «Шампанское, девочки, счет, нет проблем»

От взрыва деревья на другом берегу содрогнулись, и артиллерийский огонь, уже стихнувший, снова усилился среди горящих крыш. За первым взрывом последовали другие, и Барлес на слух определил, что стреляли из стомиллиметрового танкового орудия, одного из тех старых Т-54, которые мусульмане захватили у противника. Где-то там, на другом берегу, крыши взлетают на воздух, и от последних хорватов, еще защищающих Бьело-Полье, скоро никого не останется. Если танки уже подошли к селению, значит, кольцо вокруг него вот-вот сомкнется. Скоро танки появятся из-за поворота и выйдут к мосту, поэтому Барлес решил, что пора возвращаться к Маркесу.

Когда он перебегал через шоссе, над его головой просвистело несколько пуль — слишком высоко. Стреляли с другого берега и стреляли наугад; пули падали на асфальт, издавая звук, напоминавший дребезжание туго натянутой проволоки — дзинь-дзинь-дзинь. Барлес чуть наклонил голову, когда услышал, как они со свистом проносятся мимо, но сделал это скорее инстинктивно: он знал, что свою пулю не слышишь, — пуля, которая тебя убивает, приходит, не объявляя: «А вот и я!»

Вообще война, думал Барлес, спускаясь туда, где лежал Маркес, — это килограммы и тонны разлетающегося во все стороны металла. Это пули, осколки, снаряды, летящие прямо или по разным и непредсказуемым траекториям, отскакивающие рикошетом, появляющиеся то тут, то там, сталкивающиеся друг с другом в воздухе, вырывающие куски плоти, дробящие кости, отчего кровь растекается по земле, полу и стенам домов. Барлес, уже двадцать лет проработав военным журналистом, все еще поражался тому, сколь изобретательны некоторые из этих кусочков металла, начиная с подпрыгивающей мины, которая взорвалась не на земле, когда Красавчик наступил на нее, — конический эффект, смертность шестьдесят процентов, — а в воздухе — зонтичный эффект, смертность восемьдесят пять процентов, — и кончая кумулятивными снарядами и пулями калибра пять пятьдесят шесть, которые стали появляться на всех фронтах Боснии, по мере того как торговцы вооружением осваивали этот рынок.

Дзинь-дзинь-дзинь, просвистели еще две пули, но сейчас Барлес не пригнул голову: во-первых, он ждал их, а во-вторых, на него смотрел Маркес, устроившийся на косогоре рядом со своей камерой. «Ну и стерва эта пуля калибра пять пятьдесят шесть», — подумал Барлес. Она легче, чем пули другого калибра, и летит по прямой, пока не встретит на своем пути человеческую плоть. Тогда эта стерва вместо того, чтобы пройти через человеческое тело по прямой линии, тут же меняет траекторию, дробя по пути кости и разрывая полые органы. Да, она убивает меньше, чем, например, натовский калибр семь шестьдесят два или пули от Калашникова, но все тщательно продумано. Возможности обычных пуль ограничены: убитый противник — это просто убитый, и не более того. Гораздо лучше, если у противника раненых будет больше, чем убитых; причем тяжелораненых — безруких и безногих: надо тратить силы и средства на их эвакуацию, лечение, содержание госпиталей; раненые затрудняют передвижение противника, подрывают его стойкость. Убивать противника уже вышло из моды. Сейчас принято оставлять ему много калек и парализованных, и пусть выпутывается как знает. Барлес считал, что именно к такому выводу пришли главные штабы, изучив доклад — статистические данные по войне во Вьетнаме, соотнесенные со статистическими данными Наполеоновских войн, — который какой-нибудь высококвалифицированный специалист написал, предварительно изучив факторы, тенденции и параметры. Барлес представлял себе, как этот тип — его зовут Мортимер, а может быть, Маноло, — сняв пиджак, сидит за рабочим столом в своем кабинете, а секретарша приносит ему кофе. «Спасибо, как дела? — Все прекрасно. — Семь тысяч убитых сюда, десять тысяч туда, и у меня остаются еще пять; черт подери, какой кофе горячий. Послушай, детка, будь любезна, принеси мне процентные данные о сгоревших от напалма. Нет, это сгоревшее гражданское население, а мне нужны данные по пехоте. Спасибо, Дженифер (или Марипили). Выпьешь со мной рюмочку после работы? Не говори ерунды, при чем тут, что ты замужем? У меня тоже семья».

Барлес прекрасно знал: если сербский гранатомет выстрелит по стоящей в Сараево очереди за хлебом гранатой PPK-SIA, а не гранатой PPK-SBB, то разница эта отразится на судьбе Мириам или Лилиан: от этого зависит, выживут ли они, погибнут, отделаются пустяковыми ранами или останутся калеками. А в существовании и использовании PPK-SIA и PPK-SBB виноват не столько сербский артиллерист, сколько статистические выкладки вышеупомянутых Мортимера или Маноло, которые между двумя чашечками кофе пытаются завалить секретаршу. А пуля-шалунья калибра пять пятьдесят шесть, та, что делает зигзаг и вместо того, чтобы выйти вот тут, выходит вот там или разносит на мелкие кусочки печень, ведет себя таким образом потому, что блестящий инженер, вполне мирный человек, живущий там, где они еще сохранились, истовый католик, любящий Моцарта и на досуге увлекающийся садоводством, провел немало часов, изучая этот вопрос. Может быть, он даже дал этой пуле какое-нибудь имя собственное — «Луиза» или «Малютка Эусебия», — потому что изобрел ее в день рождения жены или дочери. А потом, закончив все чертежи, с чистой совестью и сознанием выполненного долга, этот убийца с незапятнанными руками выключил свет над своим проектировочным столом и отправился с семьей в Диснейлэнд.

Дойдя до косогора, Барлес растянулся рядом с Маркесом. Оператор закурил еще одну сигарету и затягивался, время от времени поглядывая на охваченные огнем крыши на другом берегу.

— Слышал танки? — спросил он.

— Слышал. Они торопятся.

— Вряд ли этот мост еще кому-нибудь понадобится.

— Пожалуй.

Барлес нетерпеливо посмотрел на часы. Этот предмет он ненавидел: он зависел от часов двадцать один год своей жизни. Зависел от того момента, который на профессиональном жаргоне называют deadline[[5]](#footnote-5). В это время истекает срок записи теленовостей или уходит в набор газетный выпуск, и если ты не успел к этому часу, то работа твоя пошла коту под хвост. А им еще предстояло добраться до того места, откуда велась трансляция, — до укрытого мешками с землей домика, внутри которого находилось необходимое электронное оборудование, а на крыше — параболическая антенна, и где работали Пьер Пейро и ребята из Европейского бюро. И все равно передача иногда прерывалась из-за помех на линии, сбоев в передаче сигнала, в работе электроники или из-за разорвавшегося поблизости снаряда. И тогда работа, проделанная за день пропадала, а Барри, американский техник, пожимал плечами и смотрел на Барлеса так, словно выражал ему соболезнование. May be the next time — может быть, в следующий раз. Здоровяк Барри всегда был в хорошем настроении и разговаривал со своей женой филиппинкой по спутниковому телефону на забавной смеси английского и испанского, а перед тем, как прервать связь, тихо говорил ей по-испански: «Я тебя люблю», — прикрывая рот ладонью, словно ему было стыдно за это мимолетное проявление нежности. Ребята из Европейского бюро работали слаженно и обеспечивали трансляцию через спутник всем телестанциям, входящим в состав Евровидения. Их здешний начальник, Пьер, худой и любезный француз в очках, полгода жил в Амстердаме с женой и с дочерью, а полгода проводил на войнах в различных точках планеты. Барлес работал с ним во многих странах, и они были старыми приятелями. Каждый день, не требуя, чтобы Мадрид сделал официальную заявку через Брюссель, Пейро резервировал для Барлеса и Маркеса десять минут спутниковой связи и час предварительного монтажа с Францем, молчаливым немцем, или с невысоким, улыбчивым Салемом, белокурым швейцарцем тунисского происхождения. В плохие дни они монтировали, не снимая касок и бронежилетов. Однажды в Сараево Франц и Барлес встали из-за монтажного стола за тридцать секунд до того, как прямо под окном разорвался снаряд и все помещение засыпало осколками. На добытую у Маркеса мелодию чотиса[[6]](#footnote-6) Пьер сложил песенку об этом событии: «Это было в тот день, когда Испанское телевидение, встав по нужде из-за стола...» и так далее. Напившись, они часто распевали ее, сидя без электричества в гостинице «Холидей инн» и слушая, как снаружи рвутся снаряды. Тогда Манучер рассказывал иранские анекдоты, которые ни до кого не доходили, а Арианн, корреспондентка Франс Интер, немного похожая на Каролину Монакскую, клянчила у Барлеса нераспечатанные пакетики бумажных носовых платков, потому что у нее кончились прокладки.

Гостиницы военных журналистов... На каждой войне у них всегда была своя гостиница. Висенте Талон, Джорджио Торчиа, Педро Марио Эрреро, Луиссе... Мигель де ла Куадра, Грин, Висенте Ромеро, Фернандо де Хилее, Басилио, Бонекаррере, Клод Глюнц, Маноло Алькала — репортеры-ветераны, прошедшие Алжир, Катангу, Кубу, Биафру и Шестидневную войну, те, кто уже умер, вышел в тираж или на пенсию; репортеры, истории которых, рассказанные в барах или борделях, впитывал в себя Барлес в юные годы, — с ностальгией вспоминали гостиницу «Алетти» в Алжире или «Сен-Жорж» в Бейруте. Когда Барлес думал об этом, он чувствовал себя ужасно старым. Вместе с Ману Легинече и еще несколькими журналистами он принадлежал к почти исчезнувшему поколению, которое впервые услышало выстрелы в начале семидесятых. То были другие времена — никто не торопился и передавал материал, спокойно отстукивая его на стареньком телексе, снимал на кинопленку, таскал за собой разбитый «Ундервуд», мог месяцами пропадать в Африке, а по возвращении его материалы публиковались на первых полосах. Теперь же достаточно было пятиминутного опоздания или сбоя в работе спутниковой связи, чтобы информация устарела и ни к черту не годилась.

Для Барлеса, как для каждого военного журналиста-ветерана, любая война всегда ассоциировалась с определенной гостиницей. Когда племя специальных корреспондентов достает томагавки и мчится туда, где запахло порохом, встречаясь, они часто узнают друг друга, вспомнив гостиницы, в которых жили бок о бок: «Ледра палас» на Кипре, «Коммодоре» и «Александр» в Бейруте, гостиницы с одинаковым названием «Интерконтиненталь» в Манагуа, Бухаресте и в Аммане, гостиницы «Хилтон» в Кувейте, «Чари» в Нджамене, «Камино Реаль» в Сальвадоре, «Континенталь» в Сайгоне, «Шератон» в Буэнос-Айресе, «Парадор» в Эль-Аюне, «Дунай» в Вуковаре, «Мансур» и «Аль-Рашид» в Багдаде, «Экспланада» в Загребе, «Анна Мария» в Медугорье, «Меридьен» в Дахране, «Холидей инн» в Сараево и еще много-много других, рассеянных по местам трагедий. Гостиницы, которые превращаются в штаб-квартиры военных журналистов, всегда выглядят странно и живописно: туда-сюда снуют бригады тележурналистов, через холл и по лестницам тянутся провода, во всех розетках заряжаются батарейки, повсюду свалены параболические телефонные антенны и оборудование для трансляции; бар подвергается частым и опустошающим набегам, электричество то и дело вырубается, в комнатах свечи, и везде — официанты, солдаты, сутенеры, шлюхи, торговцы наркотиками, таксисты, шпионы, информаторы, полицейские, переводчики; мелькают доллары, идет торговля из-под полы, в вестибюле сидят фотографы, а какие-то типы, прижав приемники «Сони» к уху, слушают Франс Интер или Би-Би-Си; на полу валяются камеры, оборудование для монтажа, ноутбуки, пишущие машинки, бронежилеты вперемешку с касками и спальными мешками... Иногда, как на Кипре, в Кувейте или в Сараево, по ступенькам лестницы стекает вода, оконные стекла вылетели от постоянной стрельбы, некоторые комнаты разворочены прямым попаданием снарядов, в коридорах свалены матрасы, и повсюду стоит неумолчный шум дизель-генераторов, обеспечивающих хоть какую-то электроэнергию... Барлес помнил гостиницу, через холл которой они с Аглае Мазини, Энрике Гаспаром и Луисом Панкорбо пробирались ползком, спасаясь от турецких парашютистов, стрелявших по ним из бассейна. Он помнил, как Корнелиус и Хосеми Диас Хиль напились, пользуясь тем, что спиртное было вдвое дешевле обычного, в баре гостиницы «Камино Реаль», после того как попали под ракетный обстрел в горах, где над ними завис сальвадорский вертолет. Или как Энрик Марти чистил свой «Никон» в баре «Холидей инн», когда сербская бомба угодила прямо в комнату триста двадцать шесть. Он помнил Ахилла д’Амелиа, Этторе, Пеппе и других итальянских журналистов в плавках и противогазах в бассейне гостиницы «Меридьен», когда из-за иракских «Скад» в Дахране завыла тревога. Или Рикардо Рочу, с рюмкой в руках стоявшего в дверях гостиницы «Интерконтиненталь», чтобы посмотреть, как сандинисты будут штурмовать бункер Сомосы. Ману Легинече, отстукивающего репортаж на своей «Оливетти» на террасе «Континенталя» в ста метрах от позиций вьетконговцев. Хавьера Валенсуэлу в солнечных очках, для которого война началась с того, что он влюбился в ливанскую девушку. Томаса Альковерро, вполне серьезно разговаривающего с попугаем в гостинице «Коммодоре», которого он учил говорить: «Сембреро, я тебя ненавижу; Сембреро, я тебя ненавижу». Он помнил, как все побежали в убежище в Осиек-Гарни, а Хулио Фуэнтес спокойно спал в своей комнате, потому что он выключил портативный сигнал тревоги, чтобы ему не мешали. Барлес помнил и восемнадцать румынских проституток, которых он сам выбрал, чтобы они вместе с журналистами встречали Новый год в гостинице «Интерконтиненталь»; и как в тот вечер официанты и местные завсегдатаи пили вместе с ними, Хосеми уплетал за обе щеки, братья Дальтон — Телевидение Галисии — курили травку, а Хулио Алонсо и Ульф Дэвидсон, хорошо поддав, кидали снежками в журналиста Си-Эн-Эн, когда тот, стоя у открытого окна, вел прямую трансляцию.

Они по-прежнему лежали на косогоре, вглядываясь за реку. Барлес еще раз посмотрел на профиль оператора: двухдневная щетина и вертикальные морщины в углах рта придавали его лицу ожесточенное выражение.

— Времени у нас в обрез, — заметил Барлес.

— Плевать. Этот мост я не упущу.

В Мадриде у Маркеса были жена и двое дочерей, с которыми он проводил месяц в году. Когда двадцать дней этого месяца проходили, Маркес становился настолько невыносим, что его собственная семья считала — лучше всего ему сесть в самолет и отправиться на какую-нибудь войну. Может быть, поэтому Ева, жена Маркеса, до сих пор с ним не развелась: ведь существовали войны, куда его можно было отправить. Иногда, в редкие минуты откровенности, Маркес спрашивал Барлеса, какого хрена тот будет делать, когда состарится, не сможет никуда ездить и ему придется месяцами сидеть дома. Барлес обычно отвечал: «А фиг его знает». Вышедший на пенсию репортер — если он не умрет раньше или не вырвется из этого круга вовремя — похож на старого моряка: он целый день сидит у окна и вспоминает. Или слоняется по редакционным коридорам, пьет кофе из автомата и рассказывает молодым о былых баталиях, точь-в-точь как престарелый дедушка. Таким стал Висенте Талон. Иногда Барлес спрашивал себя, не лучше ли наступить на мину, как Тед Стэнфорд на шоссе, ведущем в Фамагусту; сдохнуть после хорошей пьянки в каирском баре или подцепить сифилис в борделе Бангкока. Или СПИД, как Нино, сначала работавший звукооператором, а потом оператором Телевидения Испании, который испытал все, что мог, и выпил все, что мог, прежде чем тихо уйти со сцены, не дожив и до тридцати лет. Они много работали на пару в Гибралтаре и в Северной Африке, где вместе с ребятами из движения «Фронт Полисарио» целый месяц устраивали засады марокканцам. Барлес до сих пор не мог без содрогания вспоминать драку в гибралтарском баре контрабандистов, когда в ход пошли разбитые бутылки; они спаслись чудом, и Нино, которому храбрости было не занимать, махал кулаками налево и направо. А теперь Нино был мертв, и ему уже не надо было беспокоиться ни о старости, ни о пенсии, ни о чем-нибудь еще.

Пенсия... Германн Терц обычно заговаривал об этом чуть заплетающимся после третьего виски языком, когда его ноутбук уже передал по модему репортаж, который на следующее утро появится на страницах мадридской «Эль пайс». Германн только что закончил книгу о войне на территории бывшей Югославии, и его повысили: перевели на должность заведующего Отделом обозревателей газеты, что означало конец поездкам и многолетней репортерской работе в странах Центральной Европы. У Германна за плечами была австро-венгерская школа, как и у Рикардо Эстарриоля из барселонской «Вангуардии», и у бесспорного аса их ремесла Франсиско Эгиагарая, которого таксисты всех гостиниц Восточной Европы приветствовали красноречивым «шампанское, девочки, счет, нет проблем». Великодушный, отзывчивый Пако Эгиагарай тосковал о временах Австро-Венгрии и был способен прослезиться при звуках «Марша Радецкого»[[7]](#footnote-7). Он досконально знал этот регион, и ему пришлось раньше времени уйти на пенсию, потому что в начале войны все материалы, которые он делал для телевидения, носили отчетливо антисербский характер. Однако время подтвердило его правоту: Эгиагарай, как Эстарриоль и Терц, с удивительной точностью предсказал, как будут развиваться события на Балканах.

— Эти кретины в министерствах иностранных дел Европы не знают истории!

Обычно он заводил эту тему, угощая ледяным шампанским в Вене, Загребе или Будапеште своих молодых коллег, которым были интересны его теории и взгляды. За ним по пятам ходили все, кроме Крошки Родисио, которая, два года проработав репортером в горячих точках, из скромной студенточки превратилась в ходячий кладезь опыта и не нуждалась в том, чтобы ее учили. Ее не смущало то, что она путала калибры или могла сказать, что, пикируя, бомбардировщик Б-52 одновременно сбрасывает бомбы, — спасать положение она предоставляла Маркесу или тому, кто работал с ней оператором. Может быть, поэтому Крошка Родисио пренебрежительно отзывалась о Пако Эгиагарае, Альфонсо Рохо и вообще обо всех, и была очень резка с членами своей съемочной группы. Мигель де ла Фуэнте, Альваро Бенавент и те, кто прошел через это, говорили, что работать с ней — все равно, что работать с Авой Гарднер.

Ну а министры иностранных дел, которых всегда поминал Пако Эгиагарай, предсказывая Балканам мрачное будущее, были целиком поглощены тем, что репетировали перед зеркалом самодовольные улыбки и позы, и поэтому не могли обратить внимания на его предостережения. «Мы смотрим на военный конфликт с разумным оптимизмом», — сказал министр иностранных дел Испании за несколько дней до того, как сербы напали на Вуковар. «Мы что-нибудь предпримем в самые ближайшие дни», — заявили его европейские коллеги, когда вторая часть этой драмы начала разворачиваться в Сараево. И так, за разговорами, прошли три года бездействия, а когда они начали действовать, то стали шантажировать боснийских мусульман, чтобы те смирились с уже очевидным фактом раздела страны. Они начали действовать, когда нельзя было ни вернуть девственность изнасилованным девочкам, ни воскресить десятки тысяч погибших. «Мы положили конец этой войне», — говорили они теперь, когда конец ее и так уже был виден, и отталкивали друг друга локтями, чтобы оказаться в первом ряду тех, кто раскрашивает в голубой цвет миротворцев могильные кресты. Сорок восемь таких крестов напоминали о погибших журналистах, многие из которых были давними приятелями Маркеса и Барлеса. Если бы министры, генералы и правительства всех стран относились к своей работе так старательно и добросовестно, как эти ребята!

Вспоминая Пако Эгиагарая и весь клан австро-венгров, Барлес всегда вспоминал их любимую гостиницу «Экспланада» в Загребе. Испанцы, в отличие от англосаксонцев, расположившихся в «Интерконтинентале», предпочитали «Экспланаду», больше похожую на старые европейские гостиницы, и только Ману Легинече останавливался в «Интерконтинентале» — из экономии, потому что у него всегда было туго с деньгами. Обслуживали в «Экспланаде» безупречно, выбор напитков был превосходен, а проститутки тактичны и элегантны. Именно там, в «Экспланаде» зимой девяносто первого Германн Терц и Барлес, вернувшись после осады Осиека, распили последнюю бутылку черногорского вина в честь Пако Эгиагарая. В Осиеке они ужинали в ресторане под открытым небом во время обстрела сербской авиации и артиллерии. Снаряды и бомбы пролетали над ресторанным садиком и падали неподалеку, но они не уходили, потому что с ними были Маркес, Хулио Фуэнтес, Майте Лисундиа, Хулио Алонсо и несколько начинающих журналистов, перед которыми они не могли себе позволить дергаться, пока не доеден десерт. Это тогда Барлес сказал Германну фразу, которая потом вошла в набор расхожих шуток племени военных корреспондентов: «Еще три бомбы, и мы уходим». Кончилось это тем, что они бежали по неосвещенным улицам под неумолчный грохот канонады. В ту ночь осколками разорвавшегося прямо в гостиничном коридоре снаряда и разлетевшихся оконных стекол поранило спину молоденькому репортеру газеты «АБЦ», и Хулио Алонсо несколько часов просидел с ним в ванной, вытаскивая один за другим кусочки стекла и металла, засевшие в коже.

— Ну, тебе везет, парень, — рассуждал Германн, который курил рядом, пристроившись на биде. — Первый раз в жизни приезжаешь на войну, тебя тут же ранят, твоя фотография во всех газетах, а твой материал на первой полосе... Другие годами вкалывают, чтобы этого добиться.

Парнишка из «АБЦ» бессмысленно кивал, то и дело вскрикивая «ай!», пока Хулио Алонсо ковырялся у него в спине, вытаскивая осколки стекла.

— Понимаешь, как тебе повезло? Ты просто с жиру бесишься.

Германн, высокий, элегантный, был больше похож на дипломата, чем на репортера. Он носил очки в металлической оправе и всегда, даже на передовой, был в пиджаке и в галстуке. Они с Барлесом познакомились в новогоднюю ночь восемьдесят девятого в Бухаресте, когда Секуритате устроила резню и начались уличные беспорядки. В тот день они вошли во дворец Чаушеску, и Германн взял галстук из президентской спальни — широкий, чудовищный галстук, который он ни разу не надел. Стоял такой холод, что ноги примерзали к земле, и чтобы согреться, они тогда порядком выпили, а на излете ночи, когда уже светало, вместе с оператором Хосеми Диасон Хилем и корреспондентом испанского телевидения Антонио Лосадой мчались на машинах по пустынным улицам Бухареста, лавируя между пропускными пунктами и снайперами и передавая бутылку из машины в машину. Хосеми был худощавым, нервным, очень смелым и всегда с кем-нибудь разводился. Он был похож на красавчика-цыгана, и однажды, когда он вел репортаж из женской тюрьмы, заключенные по ходу дела пытались его изнасиловать. На рассвете того дня, когда началась революция, все они уже были в Бухаресте после сумасшедшей гонки через Карпаты: Антонио Лосада за рулем, машину заносит на обледенелых дорогах, везде горят баррикады и вооруженные до зубов крестьяне перегораживают мосты своими тракторами, глядя на них сверху, как в фильмах про индейцев. Антонио Лосада был высоким видным парнем с прекрасной душой. В Бухаресте он каждый день ходил в местную телестудию, откуда передавал свои репортажи, и каждый раз он пробирался в здание и выбирался из него ползком, потому что в него все стреляли. Раньше в него никто никогда не стрелял, и Антонио так втянулся, что даже в те дни, когда у него не было материала, все равно отправлялся на студию с запасом виски и сигарет для румынских техников, которые его обожали и в конце концов попытались женить на очень красивой румынке, монтировавшей видеозаписи. Потом Антонио вместе с Маркесом и Крошкой Родисио был в Багдаде в ту ночь, когда город обстреливали американцы; тогда все, кроме Альфонсо Рохо и Питера Арнетта, уехали, а по лицу Маркеса, прижимавшего к себе камеру, текли слезы бессильной ярости, потому что Крошка Родисио не захотела остаться и его съемки были никому не нужны. Антонио Лосада был лучшим корреспондентом на Телевидении Испании: он говорил по-английски, а это среди журналистов Торреспанья считалось редчайшим достоинством. Кроме того, Антонио был сама доброта, но иногда на него что-то находило и он влипал в историю. Однажды Антонио опоздал на самолет и застрял в Будапеште; он отправился пропустить рюмочку-другую и от скуки ввязался в драку с двумя венгерскими вышибалами из бара, которые разбили ему губу. На следующий день Антонио появился в Торреспанья с зашитой губой и в синяках, но счастливый.

Над их головами просвистело еще несколько случайных пуль, и Барлес увидел, что Маркес улыбается, делая последнюю затяжку. Он достаточно хорошо знал оператора, чтобы догадаться, о чем тот думает — хорошее освещение, сигарета, война.

— Тебе ведь нравится это, сукин сын.

Маркес засмеялся своим дребезжащим смехом состарившейся трещотки. Помолчав, он отбросил далеко в сторону окурок и смотрел, как тот дотлевает в траве.

— Помнишь Кукуньевац? — спросил он, вроде бы некстати.

Но Барлес знал — очень кстати.

Кукуньевац... Это было в девяносто первом, когда наступавшие хорваты пытались захватить сербское село. В те времена ты подходил к солдатам, говорил: «Привет, ребята, как дела», — и начинал работать без всяких формальностей. Батальон численностью в шестьсот человек продвигался двумя колоннами по обеим сторонам дороги, и до села им оставалось всего четыре километра. Это был передовой ударный батальон, и солдаты знали, что бой предстоит трудный. Они были молоды, но ни один из них не улыбнулся и не пошутил, когда Маркес поднял «Бетакам» на плечо и начал работать. Он всегда сначала только делал вид, что снимает, чтобы люди привыкли к камере и вели себя естественно, и называл это «снимать на английскую пленку». Но в тот день в этом не было необходимости. Когда неподалеку стали рваться первые снаряды, некоторые солдаты вытащили шариковые ручки и, не останавливаясь, прямо на ходу написали группу крови на тыльной стороне руки или на предплечье.

Да, в Кукуньеваце они видели подлинное лицо войны. Серый день, над зелеными полями стелется туман, а вдали горят крестьянские дома. Когда до села оставалось уже немного, разговоры прекратились, все смолкли, и наступила полная тишина: единственным звуком было поскрипывание гравия на дороге. Барлес вспомнил, как Маркес шел в правом ряду, камера закинута на спину, голова опущена, а взгляд прикован к сапогам идущего впереди солдата; он глубоко задумался о чем-то своем или внутренне собирался, как воин перед сражением. Он и был воином: порой Маркес казался самураем, которому не нужен никто в мире. Возможно, все, что нужно мужчинам, все, что заставляет их вставать и идти вперед, Маркес находил на войне.

Бой за Кукуньевац оказался еще более жестоким, чем они ожидали. Впереди шла «Зебра»: элитное подразделение, у бойцов которого волосы на голове были выбриты полосками; во время боя они обычно закрывали лица масками. Работала «Зебра» просто: врывались в дома, под дулом оружия вытаскивали людей из подвалов и, прикрываясь ими, как живым щитом, шли дальше, а по обеим сторонам дороги начинали пылать дома. Один солдат из подразделения «Зебра» угрожающе сказал Маркесу: «No pictures»[[8]](#footnote-8), увидев, что тот снимает гражданское население, поэтому остальное Маркесу приходилось снимать тайком, держа камеру на боку и делая вид, что она выключена. Барлес навсегда запомнил Кукуньевац таким, каким его снял Маркес. Впервые он увидел эти кадры в монтажном зале в Загребе, где столпились все тележурналисты и молча, потрясенные, смотрели отснятый Маркесом материал. Впереди, подняв руки, идут сбившиеся в кучу, как отара перепуганных овец, мирные жители; бегают солдаты с автоматами, слышится стрельба, а на заднем плане горят дома. Маркесу не всегда удавалось как следует установить камеру, и тогда в кадре дорога и солдаты, идущие по ней под прикрытием ползущего танка, башня которого медленно поворачивалась слева направо, резко накренялись.

И снова вдалеке, впереди колонны, — серая перепуганная отара. Черный столб дыма от разорвавшегося снаряда; корчащийся в дверях дома молодой солдат, раненный в живот; и другой, в шоковом состоянии, уставившийся в камеру стекленеющим взглядом, пока ему останавливают — или пытаются это сделать — кровь, хлещущую из развороченного снарядом бедра. И крестьянин в гражданской одежде, очень молодой, которого допрашивает солдат из «Зебры» в маске и методично хлещет по лицу, отчего голова крестьянина мотается из стороны в сторону; от ужаса тот не сдерживается — темное влажное пятно появляется у него на штанах между ног и медленно ползет вниз.

Да, в Кукуньеваце они видели подлинное лицо войны. И не существует Голливуда, который был бы способен передать то, что передавали слегка накрененные кадры, снятые Маркесом: серое нависшее небо, горящие дома, молча шагающие по дороге солдаты, разлитые в воздухе ощущение опасности, безмерную тоску и одиночество. Барлес вспоминал, как оператор шел в общем ряду, камера на лице, безучастное выражение лица, глаза полуприкрыты — он пробует войну на вкус. И Барлес совершенно точно знал: в тот день в Кукуньеваце Маркес был счастлив.

## IV

## Открытки с видами Мостара

— Ставлю доллар, — сказал Барлес, — что они раздумали взрывать мост.

— Идет. Вот тебе доллар.

Маркес вытащил из кармана смятый доллар и протянул Барлесу. Они всегда ставили на один и тот же доллар, и он переходил от одного к другому, в зависимости от того, кому улыбалась удача. Этой валюте они изменили только один раз, в Мостаре, поспорив на миллион динар, что между двумя и половиной третьего не будет ни одного взрыва. В два часа семь минут в десяти метрах от того места, где они разговаривали с испанским лейтенантом из миротворческих сил, взорвался хорватский снаряд, убив одного мирного жителя и ранив двоих. Маркес снимал, как лейтенант бросился на помощь раненому, и в это время разорвались еще два снаряда. Лейтенант был весь в чужой крови, и все решили, что он тоже ранен; говорили, что его жена, увидев эти кадры в «Новостях», ужасно испугалась. Когда обстрел закончился, Барлес отправился в банк Мостара, развалины которого были усыпаны денежными знаками несуществующей Федеративной Республики Югославия, набрал миллион динар банкнотами достоинством в тысячу и вручил их выигравшему пари Маркесу.

Мостар... Он видел разрушенный снарядами мост XVI века и старинный турецкий квартал у реки, где в самом начале войны еще можно было попить кофе среди старых лавочек. Теперь даже близко подходить к этому району было опасно, потому что весь он простреливался снайперами, и то и дело раздавались гранатометные выстрелы. Поэтому Барлес и Маркес находили хорошее место — более-менее защищенный перекресток, — устраивались там с камерой и снимали людей, которые бежали к мосту, надеясь перебраться на другой берег, а вслед им стреляли. Время от времени раздавался выстрел гранатомета. Гранатомет особенно опасен в городе, потому что за домами ты не слышишь приближения снаряда, и он падает тебе на голову неожиданно. Именно так погибли Марко Лючетта, Д’Анжело и их бородатый оператор Алессандро Отта — трое итальянцев с Национального Радио Италии. В январе девяносто четвертого они вышли из бронированной машины как раз в том месте, где неделей раньше Барлес и Маркес снимали испанского лейтенанта. Но теперь снаряд упал на десять метров ближе, и итальянцы пополнили собой список иностранных журналистов, погибших в Боснии, став в нем номерами сорок шестым, сорок седьмым и сорок восьмым. Барлес и Маркес были знакомы и с Алессандро, и с Марко, который как-то в гостинице «Анна Мария» в Медуторье показал им фотографию двух своих сыновей; из этой гостиницы они выехали утром того рокового дня, чтобы уже не вернуться, — остались их вещи в комнатах и неоплаченные счета. После всех журналистов, когда их убивают, остаются неоплаченные счета, грязные рубашки в шкафу, карта, прикрепленная к стене кнопками, и недопитая бутылка виски на ночном столике.

Да, Барлес по собственному опыту знал, что от гранатометов хорошего не жди. И это могут подтвердить — там, где они теперь находятся, — семьдесят несчастных, погибших на сараевском рынке от прямого попадания гранатомета. Или те, кто стоял в очереди за водой в Мостаре. Очереди за водой, за хлебом, за чем угодно, любые скопления людей были излюбленной мишенью снайперов, пользовавшихся разрывными пулями. Снайперы пользовались только разрывными пулями — это было их незыблемое правило; другим незыблемым правилом был принцип: никогда не убивай первую жертву первым выстрелом. Это объяснил Барлесу и Маркесу боснийский снайпер в старой части Сараево: предпочтительнее только ранить человека, не повредив при этом жизненно важных органов, а затем по одному расстреливать тех, кто бросится ему на помощь. И только потом, в самом конце, первую жертву добивают выстрелом в голову. После этого они сняли снайпера, когда тот на практике подтвердил им свои слова, и с изумлением обнаружили, что разнесенный на кусочки мозг — если снайперу повезло и выстрел пришелся в голову — продолжает посылать команды, и тело шевелится, а люди думают, что человек жив, и спешат помочь. И тут-то им конец.

Мигель Хиль Морено в Мостаре был возмущен, когда они ему рассказали об этом. Мигель был барселонским адвокатом, но сменил тогу на профессию журналиста и разъезжал по полям сражений на спортивном мотоцикле с двигателем шестьсот пятьдесят кубиков. Это была его первая война, и он все принимал близко к сердцу, потому что еще был в том возрасте, когда журналист верит в плохих и хороших, влюбляется в заведомо обреченные идеалы, в женщин и в войны. Он был отважен, горд и вежлив: никогда ни у кого ничего не просил, был со всеми на «вы» и тщательно выбирал выражения. Мигелю удалось получить — никто не знал, как — журналистскую аккредитацию по письму журнала «Только мотоцикл», и теперь он посылал превосходные материалы с передовой в «Эль мундо» и в провинциальные газеты, пользуясь спутниковым телефоном четвертого корпуса мусульманской армии. И если другие вели репортажи из гостиниц Медугорья, Сплита и Загреба, то Мигель почти все время жил в Мостаре и каждый раз, отправляясь туда, прихватывал лекарства и еду для детей. В Мостаре Мигель пробирался между развалинами с зеленой повязкой на лбу, высокий, худой, небритый, с покрасневшими глазами и тем особенным взглядом, который бывает у людей, преодолевающих самые длинные в своей жизни тысячу метров — те тысячу метров, что навечно отделили их от людей, в которых никто никогда не стрелял. Его прозвали «Моджахед», потому что из-за черных волос и орлиного носа он был больше похож на мусульманина, чем сами боснийцы. А потом, когда у него не оставалось ни гроша, ему разрешали по спутниковому телефону испанского телевидения позвонить домой, и мать устраивала ему хорошую выволочку.

Люди со странностями... На войне все время встречаешь людей со странностями. Таких, как Хейде, немецкая журналистка, кормившая хлебными крошками голубей на площади Баскарсия и приходившая в ярость, когда взрывы вспугивали птиц. Или Флоран, французский фотограф, такой красивый, что вполне мог бы работать моделью у Армани; он так и лез под пули, потому что его девушка в Париже наставила ему рога, пока он рисковал жизнью в Сараево. Флоран разгуливал по «авеню снайперов», дожидаясь, пока его подстрелят, а Гервасио Санчес и другие репортеры, пристроившись вдалеке с камерами, не выпускали его из кадра — на всякий случай. Со странностями был и Антиох Лостиа из «Коррьере», огромный, с кроличьими зубами и наголо остриженной головой миланец, на котором из-за его роста бронежилет казался бронелифчиком. Каждый раз, как в одну из комнат гостиницы «Холидей инн» в Сараево попадала бомба, Антонио отмечал это в списке, который носил в кармане, как складное поле для игры в лото. Однажды, переспав с самой красивой переводчицей в гостинице, он устроил по этому поводу вечеринку, и племя военных корреспондентов явилось в полном составе в специально открытый по такому поводу — за внушительную сумму долларов — гостиничный ресторан и поедало консервы и спагетти под аккомпанемент рвущихся за окном сербских снарядов.

Люди со странностями составляли группу Хулио Алонсо, работавшую для нескольких телекомпаний. Насквозь прокуренные, они повсюду возили с собой огромную бутыль виски: Мария Португалка, которая, выпив как следует, пела национальные фадо и негритянские спиричуэлс; Пинто, считавшийся лучшим корреспондентом Радио и Телевидения Португалии, несмотря на то, что он был совершенно сумасшедшим; Маленький Француз, приехавший в Сараево как турист на своем «рено» посмотреть, что такое война, и решивший тут остаться; сам Хулио, который сначала делал для Телевидения Испании передачу «События недели», а потом решил работать как вольный художник. За ними всегда тянулась вереница журналистов, никого не представлявших и работавших на свой страх и риск, законченных авантюристов, шлюх — в одну из них был влюблен Пинто — и местных переводчиков. Эта группа, передвигавшаяся на разбитых, изрешеченных пулями машинах, где в беспорядке валялись пустые бутылки и вовсю надрывался радиокассетник, всегда оказывалась в гуще событий. Однажды Мария Португалка попросила Фернандо Мухику, чтобы тот разрешил ей помыться в его номере в гостинице «Холидей инн», а потом, раскинувшись, она заснула на его кровати, совершенно голая. У нее была очень красивая грудь, поэтому, обнаружив ее там, Мухика пошел за Барлесом, и они долго сидели, потягивая виски, болтая и поглядывая на Марию.

Среди военных журналистов ходили легенды о команде Хулио Алонсо: они все были с приветом, но вкалывали, как следует, и им необыкновенно везло. Как-то Хулио в Осиеке с «Бетакамом» на плече снимал крышу дома, в который за десять секунд до этого попал снаряд, и в этот момент второй снаряд угодил точно в то же место; черепица посыпалась прямо Хулио на голову, но кадр получился, как он сказал, стряхивая с себя пыль, — «охуеть можно». В другой раз в стельку пьяный Маленький Француз, сидевший за рулем, перепутал дороги и завез их в самое пекло — в Добринью, где проходила линия фронта и куда не отваживались соваться даже миротворцы. Но в них не выпустили ни одной пули: все — сербы, хорваты и мусульмане — были совершенно сбиты с толку и молча смотрели из окопов на эту компанию яростно споривших сумасшедших, которые посреди поля сражения то останавливали машину, то давали задний ход, то проезжали несколько метров вперед, выбрасывая из окон прямо на заминированные поля пустые бутылки из-под виски. Хорхе Мелгарехо, который из-за временного помрачения рассудка в тот день отправился вместе с ними, всегда покрывался холодным потом при одном воспоминании об этой поездке. Хорхе был веселым, отважным парнем и поверх каски всегда повязывал салфетку из гостиничного ресторана, чтобы выглядеть не так воинственно. Приземистый, улыбчивый, в огромной каске, Хорхе походил на симпатичный шампиньон. Он увлекался мотоциклами и разводами и содержал на свои деньги небольшой детский дом для афганских сирот. Когда Хорхе вместе с моджахедами пробирался через предместья Кабула, неподалеку разорвался русский снаряд, и четверых убитых афганцев волной отбросило прямо на него, но у самого Хорхе не было ни царапины. Но надо было учитывать, что Хорхе был корреспондентом Испанского бюро Радио Ватикана, и поэтому, как замечал корреспондент агентства «Эфе» Энрике Ибаньес, попыхивая своей старой трубкой, которую ему подарил Арафат в Бейруте, не следовало придавать особого значения счастливым случайностям, происходившим с Хорхе, — их обеспечивала его фирма.

Прошло еще пятнадцать минут, а с мостом по-прежнему ничего не происходило. Маркес посмотрел на индикатор батарейки и громко чертыхнулся: наверное, из-за постоянных отключений в гостинице электричества она не зарядилась как следует.

— Пойду схожу к машине, — сказал Барлес.

Он поднялся и направился по дороге к ферме, темные стены которой виднелись у поворота. За фермой они оставили свой «ниссан», в котором ждала их Ядранка, хорватская переводчица. Машина была развернута в сторону, противоположную мосту, на тот случай, если дела примут неприятный оборот и придется быстро уезжать. Они всегда разворачивали машину, после того как два года назад в Горне-Радицы орудийный обстрел дороги начался в ту самую минуту, когда они разворачивались. В тот день Маркесу, Альваро Бенавенту, Майте Лисундиа и Ядранке пришлось выскочить и броситься в кювет, а Барлес, дрожавшими от нервного напряжения руками, под непрерывным обстрелом пытался развернуться на узкой дороге; потом все на ходу вскочили в машину, и они дали полный газ. В багажнике «ниссана» хранились тяжелые предметы — батарейки, запасные кассеты, микрофоны, треножник, провода, инструменты, несколько канистр с бензином, походная аптечка и запас сигарет для Маркеса. Там также были две коробки из-под шотландского пива, полные музыкальных кассет, которые они слушали в долгих поездках: Шиннед О’Коннор, Маноло Тена, «Плэттерз», «Бэнглз», Джо Кокер, Конча Пикер, Мадонна. Их «ниссан» был бронированным, шины — пулестойкие, а на полу кевларовое покрытие, которое должно было приглушить взрыв мины. Машина обошлась в сто тысяч долларов, и Барлес спрашивал себя, кто именно из руководства ТВИ, на которое обычно находили приступы крайней скаредности, когда требовалось истратить лишние пять центов, в состоянии пьяной эйфории разрешил эту трату. Руководству испанского телевидения было наплевать на здоровье и материальное благополучие своих специальных корреспондентов; оно было способно придраться к счету за новогодний ужин в Сараево или требовать квитанции, если ты был вынужден дать на таможне взятку в пятьдесят долларов. Принятие финансового отчета обычно выглядело так

— Вот ты тут написал: «Различные траты, двести долларов». Это как надо понимать?

— Буквально. Это различные траты: два раза чаевые, несколько литров бензина, несколько купленных на черном рынке яиц...

— Я не вижу квитанции об уплате за бензин.

— Знаешь, там идет война — ты, случайно, не слышал? — и у людей нет квитанций, у них вообще ничего нет.

— А что это за яйца?

— Это мы решили доставить Маркесу небольшое удовольствие в день его рождения и купили пяток яиц, чтобы сделать торт. А одно яйцо в Сараево стоит десять немецких марок.

— Пять долларов — одно яйцо?

— Приблизительно.

— Телевидение Испании не намерено оплачивать вам яйца.

— Сукин ты сын, Марио.

— Кто бы спорил. Но я выполняю распоряжение. Наш лозунг — экономия, по тому что в противном случае начальство получает выволочку в парламенте... Да, а вот тут ты пишешь: «Сорок долларов за канистру бензина, конфискованную сербами», — но не уточняешь, при каких об стоятельствах она была конфискована.

— Под дулом оружия, и потому, что в Боснии полным-полно проходимцев. Почти столько же, сколько на испанском телевидении.

Находившееся под постоянной угрозой аудиторских проверок, раздираемое на разные части угрызениями совести и бдительным надзором функционеров, ни черта не смыслящих ни в телевидении, ни в журналистике, начальство скрипя зубами подписывало финансовый отчет, но всегда предпочитало, чтобы ты представил фальшивые оправдательные документы, а не объяснял им простую истину: в военных условиях можно спокойно передвигаться и работать, только если ты все время вытаскиваешь бумажник, и у тебя нет ни времени, ни возможности, ни желания просить квитанции. Под обстрелом привычная жизнь меняется: телефоны замолкают, из крана перестает течь горячая вода, бензоколонки закрываются. Исчезают магазины, светофоры, такси, полицейские, и в тебя стреляют. Шофер может запросить двадцать пять долларов за десять километров, если ехать надо по району, обстреливаемому снайперами; банка консервов может стоить пять или десять долларов, а маленькая охапка дров зимой — двести немецких марок. И если на войне ты хочешь свободно передвигаться и работать, то ты вынужден иметь дело с перекупщиками и с сомнительными типами: ты даешь взятки, пользуешься черным рынком, нанимаешь украденные машины или крадешь их сам. Но разве можно объяснить это чиновнику, который ровно в шесть запирает кабинет, чтобы успеть домой к началу трансляции футбольного матча? Поэтому для простоты дела Барлес всегда привозил кучу заполненных бланков и вписывал в них все, что требовалось, — лишь бы не спорить... «Вы ведь хотели квитанции? Пожалуйста, сколько нужно».

Однажды, чтобы не все квитанции были заполнены одним почерком, он попросил свою девятилетнюю племянницу изобразить какие-нибудь каракули, якобы по сербско-хорватски: такси по маршруту Сараево — Сплит — Кольменар-Вьехо[[9]](#footnote-9). И подпись: Радован Милошевич Туджман. Начальству на все было наплевать — годилась любая бумажка, чтобы прикрыться ею в случае чего. Забаррикадировавшись в кабинетах, далекие от той реальности, в которой шли бои, они от души радовались своей победе, если удавалось на двадцать пять долларов снизить представленный корреспондентом финансовый отчет общей суммой в десять-пятнадцать тысяч долларов. Они предпочитали расходовать деньги на предвыборные кампании, нанимать на работу пышнотелых красоток, заказывать программы футурологам, финансировать передачи типа «Кто знает, где...» или «Кодекс чести» какого-то Переса-Реверте.

Подойдя к ферме, Барлес увидел у дверной решетки ее хозяина; этого невысокого, крепко сбитого хорвата он уже видел, когда они только приехали: тот препирался с солдатами, уговаривавшими его бросить дом и бежать. Сейчас крестьянин с беспокойством смотрел на дорогу и в сторону моста.

— Что, плохо дело? — спросил он у Барлеса на ломаном английском.

— Плохо, — ответил тот. — Бьело-Полье kaputt. Я бы на вашем месте забрал семью и поскорей убирался подальше.

Перемазанные мордашки виднелись внизу зарешеченной двери: двое белобрысых ребятишек лет шести-восьми. В глубине двора, рядом с двумя коровами и ржавым трактором стояла молодая светловолосая крестьянка; старуха-мать сидела под навесом. Барлес остановился около решетки и угостил хорвата сигаретой. Сам он не курил, но обычно носил в карманах — вместе с фонариком, блокнотом, ручкой, картой, аккредитациями трех воюющих сторон и ООН, паспортом, долларами, марками, аспирином, швейцарским армейским ножом, спичками, от сырости убранными в презерватив, устройством для очистки воды, коротковолновым приемником «Сони» и жгутом для остановки кровотечения — пачку «Мальборо», чтобы угощать других: это был хороший способ завязать разговор. Хорват благодарно кивнул, и когда он вытаскивал сигарету, его огрубелые пальцы скользнули по руке журналиста; от крестьянина пахло потом и землей.

— Много волнуюсь, — сказал он, затягиваясь и кивая в сторону ребятишек. — Много проблема.

Хорват в нескольких словах обрисовал Барлесу свое положение: он не мог оставить ферму, так как опасался — и не без оснований — мародерства, а также того, что пустой дом сожгут. Он рассказал, как двадцать лет работал в Германии, чтобы купить эту ферму, в которую вложил все свои сбережения. Какое-то время все шло хорошо: родиной был тот кусочек земли, что кормил его и семью. Но сейчас в дверь к этому крестьянину постучалась война, и он разрывался между страхом за свою семью и страхом потерять все, страхом пополнить собою многотысячную толпу беженцев, наводнившую Центральную Боснию.

— Я не верил, что хорватская армия может уйти, — заключил он. И, положив руки на детские головы, спросил: — Вы думаете, мусульмане сюда придут?

Барлес пожал плечами:

— Если мост не взорвут, то да.

— А если взорвут?

— Тогда, может, придут, а может, и нет.

Барлес жалел этого человека, но не больше, чем остальных несчастных, которых он видел каждый день. Этот, по крайней мере, был молод и еще мог начать все сначала в другом месте, если ему удастся выбраться отсюда живым. Но многие, как тот старик с открытками, уже никогда нигде не смогут ничего начать.

Старика они встретили в Мостаре год назад, когда война еще не докатилась до Бьело-Полье и хорватскому крестьянину, тревожно поглядывающему сейчас в сторону моста, было наплевать на Мостар и на все остальное человечество. Старик появился однажды утром в те несколько часов затишья, которые тогда еще изредка выдавались: наступала странная, забытая тишина, и из руин вылезали мужчины, женщины и похожие на призраков дети. Холодное солнце высвечивало чернеющие скелеты домов, и повсюду был разлит запах войны: запах жженого кирпича и горелой древесины, запах пепла и разлагающейся под обломками органической материи — мусора, животных, человеческих останков. Так пахнет только на войне, и ты сам, и твоя одежда насквозь пропитываетесь этим запахом; ты ощущаешь его постоянно, спустя несколько недель после того, как уехал и двадцать раз принял душ. Смертоносная коса отдыхала, дожидаясь, пока ее снова наточат, и Маркес с Барлесом тоже отдыхали, сидя среди развалин того, что некогда было подъездом, наслаждаясь передышкой и испытывая эгоистическую радость от того, что в карманах у них билеты на самолет — пропуск в другой мир, благодаря которому ты рано или поздно говоришь: «Все, хватит», — и уезжаешь туда, где можно разглядывать текущую мимо толпу и потягивать пиво, где красивые девушки ходят по улицам и никто в них не стреляет. Барлес размышлял о том, что невозможно за полторы минуты, отведенные им в «Новостях», передать, что ты чувствуешь, когда среди развалин дома — разнесенная в щепки мебель, грязные рваные занавески, поврежденная осколками картина на стене — ты видишь валяющиеся на полу фотографии из семейного альбома: они покоробились от солнца и дождя, на них видны следы чьих-то каблуков. Вот старик, на коленях у которого примостились двое ребятишек. Вот женщина, молодая и красивая, но у нее усталый взгляд, и она грустно улыбается своим мыслям, словно что-то предчувствует. Дети на пляже, в спасательных кругах и с удочками. И общая фотография у новогодней елки, где они сняты все вместе — старик, дети и женщина с грустной улыбкой и усталым взглядом.

То утро в Мостаре было именно таким, и Барлес с Маркесом молча сидели среди развалин. И тут появился старик в майке и домашних тапочках — старик-мусульманин, с небольшой пачкой почтовых открыток в руках, который рассказал им свою историю, как хорватский крестьянин только что рассказал Барлесу свою. В рассказе старика тоже не было ничего необычного: пропавший без вести сын, больная жена в подвале, дом в другой части города. Старик помнил, как однажды ночью пришли люди в масках и сказали: «Быстро, поднимайся и вон отсюда, туда, за мост, в другой сектор». Повсюду стреляли, и двое испуганных стариков отправились ночью на другой конец города, не успев даже понять, что они оставляют свой дом навсегда.

Кончив рассказывать, старик начал показывать им одну за другой свои открытки, уже затертые от того, что их столько раз передавали из рук в руки. «Посмотрите, ребята, каким был Мостар раньше. Посмотрите, какой красивый город: средневековый мост, уходящие вверх улочки. Вот две старинные башни, их уже нет, finito, с ними покончено. Этого здания тоже нет. И моста тоже нет. Nema nichta, совсем ничего. Все kaputt, понимаете? Вот тут я жил. Красивая площадь, правда? — Старик показал рукой туда, за реку. — Это там, на другом конце города. Старинная площадь, ей было больше двухсот лет. Но ее тоже больше нет, ничего не осталось — ни дворца, ни здания, ни фонтана. Все разрушено. Все уничтожено. Все...»

— Все пошло прахом, — подытожил Маркес.

Старик помолчал, потом глубоко вздохнул и, прежде чем уйти, тщательно, любовно, переложил открытки в том порядке, в каком они лежали раньше, — это было все, что осталось от его жизни, все его воспоминания.

Они услышали, как он шепчет:

— Barbari! Nema historia!

Потом он ушел, и на их глазах его поглотили город и война.

Со стороны Бьело-Полье раздался выстрел, и крестьянин, вздрогнув, посмотрел туда. Дети засмеялись, а молодая женщина под навесом, подойдя к старухе, взяла ее за руку; обе смотрели в их сторону.

— Женщинам пора уходить, — сказал Барлес. — Вместе с детьми.

Хорват нервно хрустел пальцами; он не брился, по меньшей мере, неделю, а глаза его покраснели от бессонницы.

— Она не может идти одна, — сказал он. — О ней некому будет заботиться.

В лице Барлеса не было сочувствия: он видел слишком много горевших мусульманских ферм, слишком много мусульманских крестьян, обезглавленных на кукурузных полях, слишком много мусульманок с глазами раненого зверька, забившихся в угол. Он видел убитую девушку в праздничной одежде, — она лежала в багажнике «фольксваген-гольфа», откуда свисали ее босые ноги, болтавшиеся поверх заднего бампера. И десятилетнюю девочку с простреленной головой в луже крови посреди гостиной, и было странно, что из такого маленького тельца вытекло столько крови. У всех — а иногда Барлес думал, что и у него самого, — накопилось слишком много счетов, которые следовало предъявить этой войне, поэтому все женщины тут были печальными, а мужчины ожесточенными.

Барлес почти никогда не пытался объяснять этого. Он был репортером, а к Богу во время работы апеллировали только авторы передовиц. Анализ фактов Барлес оставлял сидящим в редакциях людям в галстуках, экспертам, которые рассуждали о геостратегических факторах, стоя у большой цветной карты, или улыбчивым министрам в трехчасовом дневном выпуске новостей. Эти люди, перегруженные работой в Брюсселе, всегда говорили о себе во множественном числе: «мы сделали», «мы сделаем», «мы не потерпим». Для Барлеса мир раскладывался на простые составляющие: тут бомба, тут убитый, тут негодяй, — по сути, одно и то же бессмысленное варварство, начиная с Трои и кончая Мостаром и Сараево. Однажды Барлес затронул эту тему, выступая перед студентами факультета журналистики в университете Саламанки. Они записывали все, что он говорил, и широко раскрывали глаза, когда Барлес рассказывал, сколько стоит проститутка в Маниле, как избежать проблем, если пользуешься украденной машиной, или как подкупить иракского полицейского, а преподаватели — это был религиозный университет — с беспокойством поглядывали друг на друга, все больше и больше сомневаясь, что пригласили того, кого следовало. «Война всегда одинакова, — говорил Барлес. — Во времена Трои я был слишком молод, но за последние двадцать лет мне довелось кое-что повидать. Не знаю, что вам расскажут другие, но я был там и могу поклясться, что война всегда одинакова: двое горемык в разных формах, полумертвые от страха, палят друг в друга, а какой-то представительный сукин сын, сидя с важным видом в своем кабинете под кондиционером очень далеко от того места, где идут бои, покуривая сигару, изобретает лозунги, знамена, национальные гимны и набрасывает эскизы памятников неизвестным солдатам, пока те ваяют эти памятники из грязи и дерьма. На войне наживаются лавочники и генералы, дети мои. А все остальное — фуфло».

«Что же касается Балкан, — объяснял Барлес в Саламанке будущим конкурентам — почти все женщины, с ума сойти, сколько женщин рвется в журналистику! — то они всегда были приграничной зоной. Здесь проходила линия противостояния между Австро-Венгрией и Османской империей, и на протяжении веков жители тут постоянно менялись ролями, становясь то жертвами, то палачами в ходе бесконечных трагедий Истории. — Девушки в первых рядах старательно записывали, и Барлес решил подпустить немного перцу: — Вы, конечно, знаете о том, как вели себя имперские солдаты и чиновники, о скрывавшихся в другом лагере беженцах, о христианах, обращенных в мусульманство, и о крестившихся мусульманах, о турках, насиловавших молоденьких христианок, и обо всем прочем. — Тут декан нервно взглянула на часы. — Это были классические войны: репрессии, поголовно вырезанные жители селений, изнасилованные женщины, подожженные пшеничные поля. Эти раны продолжают кровоточить и сегодня: ведь Сараево всего лишь сто лет назад принадлежало Турции. В Европе костры Инквизиции, взятие Гранады, Варфоломеевская ночь, Креси[[10]](#footnote-10), заговор бояр, Ватерлоо, моряки с кораблей „Непобедимой Армады“, потерпевшие кораблекрушение, выброшенные штормом на побережье Ирландии и убитые там, Второе мая[[11]](#footnote-11), — все это дела давно минувших дней, боль от которых со временем сгладилась, и они превратились просто в исторические события, почти никак не связанные с сегодняшним днем. Но Балканы — совсем другое дело, там еще свежи в памяти многие события: прадедушки тех, кто сражается на Балканах сегодня, закалывали друг друга кинжалами во имя Аллаха или во имя имперской Вены. Сербская проблема со всей остротой встала во время Первой мировой войны. Во время Второй мировой зверства, творимые хорватскими усташами[[12]](#footnote-12) с одной стороны, и сербскими четниками[[13]](#footnote-13), с другой, только укрепили кровавую традицию и память о нанесенных оскорблениях. Ведь, в конце концов, в каждой семье есть обезглавленный турками прадедушка; есть дедушка, убитый в семнадцатом году в окопах, и отец, расстрелянный нацистами, усташами, четниками или партизанами. События последних трех лет пополнили этот список: сестра, изнасилованная сербами в Вуковаре; сын, замученный хорватами в Мостаре; зверски убитый мусульманами в Горни-Вакуфе двоюродный брат. Там, — объяснял Барлес юным слушателям, — раны так свежи, что ни у одного сукина сына ни в чем нет сомнений. Поэтому в двадцатый век Балканы вошли, истекая кровью, и так же они войдут в двадцать первый век, какие бы сказки вам ни рассказывал министр Солана. Сербские националисты, все эти интеллектуалы, которые теперь пытаются умыть руки, породив таких преступников, как Милошевич и Караджич, умело использовали эти призраки прошлого и столкнули лбами тех, кто совсем не хотел воевать. А так называемый „Запад“, другими словами, мы с вами, допустил, чтобы события стали развиваться по этому сценарию. Были пущены в ход самые грязные средства, а пассивность Европы, неспособной вовремя стукнуть кулаком по столу и остановить это варварство, превратила ее в соучастницу. Из-за бесстыдной, половинчатой европейской дипломатии, с большим запозданием реагировавшей на события вчерашнего дня, агрессивные сербы почувствовали свою безнаказанность, и тогда хорваты, а следом за ними и мусульмане, тоже занялись этническими чистками — если подлость приносит выгоду, решили они, то уж лучше быть подлецами, чем жертвами, которых гонят на убой. Начатое довершила низменная природа человека — и так все продолжается до сих пор. Я вкратце рассказал вам, что происходит в Боснии, друзья мои. Вернее, подруги. Приятного вам аппетита».

— Если жена уйдет без меня, о ней некому будет заботиться, — повторил хорват.

Барлес посмотрел на мрачное, невыразительное лицо стоявшего перед ним человека. Ему надоел этот крестьянин, его жена и их ферма. Ему надоело объяснять, повторяя одни и те же слова. Бьело-Полье было слишком далеко от факультетов журналистики, где было так много слов.

— Если мусульмане придут, — сделал над собой последнее усилие Барлес, — о ней тоже некому будет заботиться.

Крестьянин обернулся, посмотрел на жену, а потом смущенно опустил голову и повел вокруг рукой, показывая на дом и землю вокруг:

— Это все, что у меня есть.

Барлес кивнул, бросил последний взгляд на ребятишек и направился к «ниссану». «Иногда, — думал он, спиной ощущая взгляды крестьянина и детей, — отсутствие семьи и вообще кого бы то ни было, о ком надо заботиться, бывает счастьем: тогда человек может спастись, убить, быть убитым или послать все к чертовой матери».

## V

## Бывают женщины похлеще мужиков

Послышался гул самолета, облетающего долину. И хотя Барлес знал, что это патрульный самолет ООН, он инстинктивно взглянул на растущие неподалеку деревья — можно ли там укрыться в случае чего. Три года назад, когда Барлес отправился к машине за батарейками, он увидел сербский МиГ — тот летел низко и на малой скорости. Самолет появился неожиданно, когда Барлес находился на совершенно открытой местности. Бежать было бессмысленно, и Барлес застыл, задрав голову и держа в руке ненужную теперь батарейку. Самолет кружил над ним, переваливаясь с крыла на крыло: пилот разглядывал неподвижную фигуру и буквы TV на крыше стоящей неподалеку машины. Барлес навсегда запомнил зловещую камуфляжную окраску фюзеляжа, отблески солнца на кабине пилота и самого пилота, который высунулся и разглядывал Барлеса. Потом МиГ улетел и сбросил бомбы в старой части города, на более достойную цель.

Подходя к «ниссану», Барлес все еще думал о Вуковаре, этом хорватском Сталинграде. Осенью девяносто первого город был разрушен — дом за домом, — и пока это происходило, Маркес с Барлесом успели побывать в некоторых из этих домов. Вплоть до последних дней, когда Вуковар превратился в груду развалин, среди которых отчаянно и безнадежно сопротивлялись его последние защитники, корреспонденты входили в дома и покидали их, пробираясь через заросли кукурузы на стареньком «форд-транзите». Они жили в гостинице «Дунай», пока ее не разрушили. В их последнюю ночь в этой гостинице Гервасио Санчес поднялся из убежища вслед за Барлесом, когда повсюду рвались бомбы и по гостинице стреляли корабли федерального флота, темными зловещими тенями застывшие на реке. В подвале, где был гостиничный туалет, укрылись десять хорватских солдат, Барлес, Маркес, Ядранка, Герва Санчес, аргентинский фотограф Мануэль Ортис и Альберто Пелаес со своей группой Телевидения Мексики. Это была долгая, оглушительно шумная и неприятная ночь: взрывы грохотали совсем рядом и нестерпимо воняло мочой.

— Живыми нам отсюда не выбраться, — заключил Альберто Пелаес, глядя на охваченных ужасом молодых хорватских солдат.

Альберто от рождения был пессимистом, и война всегда была для него тяжелым испытанием. И все-таки он снова и снова возвращался в горячие точки, хотя его никто не заставлял; если Альберто пропускал что-то важное, то долго мучился угрызениями совести. В этом он был похож на Хулио Фуэнтеса из «Эль мундо», который отвратительно чувствовал себя под бомбами, но еще хуже, когда его там не оказывалось.

Той ночью они при свете свечей сидели в туалете вуковарской гостиницы «Дунай», а наверху шло сербское наступление; журналисты вытащили бутылку виски, чтобы легче коротать время. Стены то и дело сотрясались от рвавшихся поблизости бомб. Сидя в углу на корточках, прикрывая головы руками, хорватские солдаты смотрели на них, как на сумасшедших. «Что эти типы вытворяют?» — наверное, думали они.

— Почему ты сюда поехал? — спросил Мануэля один из солдат.

— Никогда не спрашивай об этом, — ответил аргентинец.

— Я поехал потому, что я развелся, — сказал кто-то. — Ей назло.

Никто не стал вникать в эту странную логику. И только Маркес спал крепким сном под грохот стрельбы и рвущихся снаружи бомб, наплевав на вонь засорившихся туалетов и разговоры.

— Я не хочу умирать, — сказал Альберто, то ли в шутку, то ли всерьез.

— И я не хочу.

— И я.

— Послушайте, может, вы, наконец, заткнетесь!

Но они не могли остановиться, потому что от напряжения язык развязывается, а нервы начинают сдавать. Бутылка все ходила по кругу, а мексиканский звукооператор и Мануэль, подвыпив, затянули народные песни. Поэтому Барлес взял свой спальный мешок и отправился наверх, в гостиничный вестибюль, где устроился около бетонной колонны, которая впотьмах показалась ему надежной защитой. А Гервасио Санчес, верный друг, отправился следом, уговаривать Барлеса, чтобы тот вернулся в подвал. Не сумев его уломать, Гервасио из солидарности провел остаток ночи в вестибюле, растянувшись рядом с Барлесом прямо на полу. Время от времени вокруг становилось светло от взорвавшейся снаружи бомбы.

— Если меня убьют сегодня ночью, — сказал Гервасио, — я тебе этого никогда не прощу.

Гервасио Санчес был очень хорошим человеком — пожалуй, лучшим из всех, кто работал на этой войне. Он начинал как военный корреспондент во время конфликтов в Латинской Америке: в Сальвадоре и в Никарагуа, а в Боснии готовил материалы для «Ковера» и «Эль пайс», посылая, кроме того, репортажи в свою родную газету «Эральдо де Арагон». В поисках стоящего материала Гервасио приходилось постоянно разъезжать по стране и он сильно рисковал, но все-таки после Вуковара и Осиека Гервасио еще долго работал в Сараево. Увешанного камерами, его часто можно было встретить на улицах боснийской столицы в старой репортерской куртке цвета хаки, надетой поверх видавшего виды бронежилета.

— А ты почему сюда поехал? — насмешливо спросил его Барлес той ночью в вестибюле вуковарской гостиницы «Дунай».

— Потому что мне это нравится, — тихо и застенчиво ответил Гервасио.

Гервасио Санчес был не только очень хорошим человеком — он был превосходным военным фотокорреспондентом. Последнее время он часто работал на пару с Альфонсо Армадой, молодым фотографом в круглых очках из «Эль пайс», который раньше был популярным театральным режиссером. В Сараево Альфонсо приехал ненадолго — кого-то подменить, но так увлекся, что его было невозможно оттуда вытащить. Альфонсо и Гервасио были неразлучны, как нитка с иголкой.

Барлес улыбнулся, потому что он вспомнил Гервасио, — слово «Вуковар» никакого повода для улыбок не давало. Хорватских солдат, с которыми они познакомились той ночью, уже не было в живых: они остались только на кадрах, снятых Маркесом и хранящихся в архиве испанского телевидения. Когда город пал, сербы расстреляли всех пленных, возраст которых позволял держать оружие. Среди них был и Грубер, военный комендант Борово-Населье, куда Маркес и Барлес любили приезжать во время сражений, потому что там им не мешали работать. Однажды Грубер даже приказал устроить контратаку и отбить дом засветло, чтобы журналисты могли снимать. Контратака провалилась, но им удалось добраться до развалин сербских блиндажей и заснять тела убитых солдат федеральной армии, а потом федералы — те, кто остался жив, — заставили их снова отступить. Коменданту Груберу было двадцать четыре года, и последние дни, когда обороняемая территория сузилась до нескольких метров в периметре, Грубер, у которого легкие были изрешечены пулями, а нога ампутирована по щиколотку, провел в больничном подвале вместе с несколькими сотнями оставшихся защитников. Когда пришли сербы, они вытащили его из подвала и расстреляли вместе со всеми. Все они — Грубер, ребята из Борово-Населье, Матэ, мусульманин Мирко и даже Радо, невысокий белобрысый парень, влюбившийся в их переводчицу Ядранку, — лежали теперь в братских могилах среди зарослей кукурузы.

Именно эта Ядранка, предмет платонических воздыханий Радо, сидела сейчас в «ниссане» и записывала содержание новостей, которые она слушала по радио. Когда Барлес открыл дверцу машины, Ядранка подняла голову и тревожно посмотрела на него. Барлес спросил себя, вспоминает ли Ядранка, так же как он, Грубера и остальных ребят из Вуковара. Он полагал, что вспоминает, хотя женщина всегда избегала разговоров об этом, словно хотела забыть кошмарный сон. Вуковар был ее боевым крещением: тогда она еще была пылкой патриоткой, а потом разочаровалась в политике и в людях, которые держали в своих руках бразды правления. В девяносто втором Ядранка отказалась от своего официального поста — довольно высокого — в правительстве Туджмана и вернулась в Загребский университет, где раньше преподавала испанский и каталонский. Она снова стала преподавать, совмещая занятия с работой переводчицы для Посольства Испании; на поля сражений она теперь ездила только с Маркесом и Барлесом, получая за это по сто тридцать долларов в день. С этими журналистами ее связывали особые узы: в конце концов, именно с ними она три года назад проехала всю Хорватию — от Петриньи до Осиека, от Вуковара до Покрача. Летом и осенью девяносто первого, работая переводчицей испанских журналистов, Ядранка увидела вблизи самые кровавые бои федеральной югославской армии с хорватскими националистами. Ядранка была смуглой, крупной и ласковой; в волосах ее пробивалась преждевременная седина, и женщина утверждала, что этим она обязана тем дням, когда работала с Барлесом и Маркесом. Ядранка ненавидела корриду и считала испанцев жестокими, что было странно слышать на этой войне от хорватки, — звучало как насмешка.

— Плохо дело, — сказала Ядранка, выключая приемник.

— Я догадался.

— Мусульманская армия на подходе к Черно-Полье. Если они двинутся сюда, дорога назад окажется перерезана.

Барлес громко и отчетливо выругался. Только этого не хватало. Если мусульмане перережут дорогу, выбраться им будет нелегко. Особенно Ядранке: с такой фамилией — Врсалович — ей не пройти через контрольно-пропускной пункт мусульман, несмотря на аккредитацию ООН.

— Как в Ясеноваце, — прошептал Барлес.

— Да, как в Ясеноваце, — повторила Ядранка, нервно улыбаясь.

Пару лет назад они едва успели унести ноги из Ясеноваца, когда сербские танки завершали окружение Дубицы: их машина на полной скорости проскочила в том месте, где через десять минут дорога уже оказалась перерезана. Перед тем как уехать из Дубицы, Барлес успел вытащить из горящей церкви два православных молитвенника восемнадцатого века и небольшую икону Николая Чудотворца, которую он просто вырезал из оклада швейцарским армейским ножом.

— Она бы все равно сгорела, — сказал Барлес, оправдываясь перед Ядранкой, возмущению которой не было предела, когда она узнала, что он вовсе не собирается передавать икону в музей или в Министерство культуры Хорватии.

— Это называется грабеж, — возмущенно повторяла Ядранка, пока Маркес вовсю гнал машину по шоссе. — Просто бессовестный грабеж.

Она не успокоилась и когда Барлес напомнил, что это была сербская православная церковь, которую подожгли сами хорваты: в то время Ядранка еще жила своими довоенными представлениями о морали. Тогда в состав съемочной группы Телевидения Испании на территории страны, которая все еще называлась Югославией, входили пять человек они втроем, звукооператор Альваро Бенавент и корреспондент Майте Лисундиа, невеста музыканта из группы «Лос Рональдос». Низенькая, молчаливая и решительная Майте была очень молода и впервые оказалась на войне, поэтому она во всем подражала Маркесу и Барлесу и ходила за ними по пятам со своим рюкзачком на спине, а когда падали бомбы или свистели пули, наклоняла голову. В Вуковаре, в тот день, когда сербы впервые подвергли штаб-квартиру хорват массированному артобстрелу, журналистам пришлось решать: немедленно спуститься в бомбоубежище и обеспечить себе безопасность на какое-то время, рискуя при этом погибнуть под завалами и никогда не выбраться наружу, или попытаться выбраться из обстреливаемого сектора. Не проронив ни звука, Майте послушно шла следом за ними все эти бесконечно долгие тридцать минут, прижимаясь к стенам домов. Они не смогли заснять ни одного кадра, да это им тогда и в голову не приходило, потому что снаряды рвались в двух шагах, и на голову сыпались черепица и ветви деревьев. Звукооператор Альваро Бенавент был решительным и уравновешенным человеком; он даже взял в руки «Бетакам» и снял прекрасные кадры во время боев за Горне-Радицы. Но после Вуковара и того дня, когда им едва-едва удалось выбраться из Дубицы и Ясеноваца, Альваро переменился. Барлес помнил прерывистое дыхание звукооператора и его пальцы, вцепившиеся в спинку сиденья, когда, нажимая на газ, они мчались по дороге, а сзади, на горизонте, маячили сербские танки. Больше Альваро никогда не ездил в горячие точки. «После этого, — все повторял он, пока они мчались в Ясеноваце по шоссе, — я выполнил свой долг перед родиной, так что идите-ка вы. Оба».

Женщины на войне... Ядранка, Майте, Хейде с ее голубями. Катрин Леруа, увешанная камерами, спорит с израильским солдатом в Тире. Кармен Ромеро из испанского агентства «Эфе», вся в снегу, разыскивает в бухарестской гостинице «Интерконтиненталь» телефон, чтобы продиктовать репортаж о большом количестве убитых на улицах. Кармен Постиго в ту новогоднюю ночь, когда пал режим Чаушеску, танцует в Бухаресте эротический танец со своим оператором, шведом Ульфе. Аглае Мазини в семьдесят шестом на улицах Бейрута: с глазами, слезящимися от газовых бомб, стараясь не попасть под обстрел снайперов, она идет передавать по телексу свой ежедневный репортаж в газету «Эль пуэбло». Кармен Сармьенто, попав в Никарагуа в засаду, ведет оттуда прямой репортаж. Ужас на лице Лолы Инфанте, когда в Нджамене Барлес положил ей на колени человеческую кость, — того человека сожрали крокодилы на берегу реки Шари, но перед этим ему связали руки колючей проволокой и убили выстрелом в затылок. Арианн в бронежилете, зажав сигарету во рту, под прицельным огнем ведет машину по «авеню снайперов» в Сараево, а в машине играет радио и Лу Рид поет: «Я иду по диким местам». Кристина Шпенглер в запыленном «лендровере» на минных полях к юго-западу от Тиндуфа. Слободанка, вся в крови, пытается перевязать руку Полю Маршану. Ориана Фаллачи за неделю до вторжения в Кувейт в самолете, летящем по маршруту Дахран — Хафер-Батен, рассказывает Барлесу о том, что у нее рак. Вывалившийся наружу язык Пегги, оператора Си-Эн-Эн, когда взрывная пуля раздробила ей нижнюю челюсть. Смуглая грудь Марии Португалки, заснувшей в комнате Фернандо Мухики. Коринн Дюфка на фоне горящей гостиницы «Европа» — фотоаппараты на шее, туго обтягивающие джинсы, волосы заплетены в косичку, — в тот день, когда Барлес не выдержал и кинулся помогать спасателям, а она сняла его с вытащенным из-под развалин ребенком на руках. Коринн и Барлес познакомились в Сальвадоре, и это была самая смелая женщина, которую он встречал на войне. Фотографии, которые детала Коринн в Боснии, всех потрясали, и они не раз печатались на обложках «Таймc», «Пари матч» и других ведущих журналов мира. Она много месяцев провела в Сараево; пешком, через горы прошла в Мостар, а в девяносто втором подорвалась на мине в Горни-Вакуфе. После месяца в больнице Коринн сразу вернулась в Боснию, а к старым шрамам добавилось изрядное количество новых. Когда Гервасио Санчес снова увидел Коринн в вестибюле сараевской гостиницы «Холидей инн», он сказал: «Бывают женщины похлеще мужиков».

— Нам надо уезжать, — сказала Ядранка.

Барлес взял новую батарейку взамен использованной и посмотрел на завесу дыма, поднимающуюся над Бьело-Полье. Потом пожал плечами:

— Маркес хочет снять свой мост.

— О боже! — только и сказала Ядранка.

Она слишком хорошо знала Маркеса, чтобы понимать: если он что-то вбил себе в голову, то спорить бесполезно. О нем рассказывали много разных историй, где были и правда, и вымысел. Говорили, что однажды во Вьетнаме Маркес потребовал, чтобы вьетконговца, приговоренного к смерти и одетого во все черное, расстреляли на фоне светлой стены, — тогда кадр получился бы более четким. «Ведь его все равно убьют, — рассуждал оператор. — Так пусть хоть с пользой». Спросили вьетконговца, и тот ответил, что ему все равно, ему ни до чего больше не было дела. Поэтому его расстреляли у светлой стены.

Только Барлес собрался спросить у Ядранки, что еще сказали по радио, как раздался мощный взрыв; от взрывной волны закачалась распахнутая дверца «ниссана» и затрепетали листки блокнота Ядранки. Барлес подумал, что, наверное, теперь Маркес получил свой проклятый мост.

Но это был не мост. Подойдя к повороту дороги, Барлес увидел, что снаряд — пушечный или тяжелого орудия — попал прямо в ферму, полностью разрушив одну стену; все вокруг было усыпано битой черепицей. И хотя Барлес слышал за спиной шаги Ядранки, он, даже не обернувшись, бегом бросился к дому. Уже около дверной решетки боковым зрением Барлес увидел, что Маркес, выпрямившись на косогоре, издали снимает еще не осевший после взрыва столб пыли.

Взрывом решетку сорвало с петель и покорежило; сильно пахло взрывчаткой. Дверь дома была распахнута, на земле валялись битые стекла, но никого не было видно. Барлес громко позвал хорватского крестьянина, и тот тут же высунулся из подвала; лицо у него было пепельного цвета.

— Все dobro? — спросил Барлес, опустив руку и показывая, что он имеет в виду детей. — Nema problema?

Хорват отрицательно помотал головой. Подойдя к лестнице, Барлес услышал, как дети плачут внизу. В дверях показались Ядранка и Маркес, не опускающий включенную камеру, — на случай, если внутри окажется что-нибудь заслуживающее внимания. Барлес покачал головой: снимать стоило только подвал, но вспышка лежала в «ниссане». И потом точно такой подвал они уже сотню раз снимали в сотне различных мест; все они были одинаковы, — так неотличимы друг от друга горящие дома, а все убитые похожи на Красавчика. Забившаяся в угол женщина прижимает к себе двух перепуганных ребятишек; полусумасшедшая старуха с отсутствующим взглядом, погрузившаяся в темные воды своего прошлого, для которой уже не существует ни добра, ни зла. И мужчина с посеревшим от страха лицом. Униженный, растерянный, не способный защитить семью. Не было смысла идти за вспышкой к «ниссану», чтобы снимать это еще раз.

— Бессмысленно, — сказал он Маркесу.

Оператор пожал плечами и вышел во двор фермы. Ядранка разговаривала с мужчиной по сербско-хорватски, тот растерянно кивал и, слушая ее, похрустывал пальцами. «Небо обрушилось ему на голову, — подумал Барлес. — Мы живем, полагая, что наши усилия, наша работа, то, что мы получаем взамен них, прочны и основательны. Мы думаем, что все это надолго, что сами мы надолго. Но однажды небо обрушивается нам на голову. И оказывается, что все, чем мы владеем, — непрочно. А самое хрупкое из всего этого — наша жизнь».

Барлес вышел во двор. Маркес снимал общую панораму — от убитой коровы до развороченной стены дома. Иногда мертвое животное производит больше впечатления, чем мертвый человек. Все зависит от композиции кадра или фотографии. Барлес вспомнил, как однажды в Бейруте во время осады Сабры и Шатилы за ним и Пако Олмедилья увязалась собака с перебитой пулей лапой. На войне раненое животное смотрит на тебя так же, как ребенок смотрит на взрослых, упрекая их за свои страдания, причина которых ему непонятна. Глаза детей, обожженных напалмом, переполненные страданием, — на забинтованном лице одни глаза — в Хорремшехре, в Эстели, в Тире и в сотне других мест тоже всегда одинаковы: все глаза всех детей на всех войнах всегда безмолвное осуждение мира взрослых. И не только раненых или убитых детей. Барлес вспомнил шестилетнего малыша, его маленькое, беззащитное, по пояс голое хрупкое тельце, уже ненужные бинты на голове и приоткрытый ротик; он лежал на полу сараевского морга, и они сняли его в тот день, когда Пако Кустодио передал камеру Мигелю де ла Фуэнте и расплакался, — он сидел на ступеньках, и слезы бежали по его усам. Ужас может подстерегать тебя во взгляде любого ребенка, которого ты видишь на шоссе или в подвале. Во взгляде еврейского мальчика, который поднимал — поднимает? будет поднимать? — руки, стоя рядом с матерью перед неумолимым нацистским палачом в варшавском гетто. Память репортера всегда похожа на большой альбом со старыми беспорядочно перемешанными фотографиями; она полна воспоминаний — собственных и чужих. Свезенные на свалку тела замученных и убитых парней в Сальвадоре. Застенки Чаушеску. Взятие «Карантины» ливанскими фалангистами.

Ужас... Барлес помотал головой — люди не имеют о нем ни малейшего представления. Любой кретин, прочтя, например, «Сердце тьмы», считает, что ему все известно об ужасе; поэтому он проводит пару дней в Сараево, чтобы разработать рациональную теорию крови и дерьма, а по возвращении пишет на эту тему книгу в триста пятьдесят страниц. Он участвует в круглых столах и рассуждает об ужасе вместе с трепачами, которые никогда не воевали за кусок хлеба; никогда не слышали, как кричит женщина, если ее насилуют; у которых на руках никогда не умирал ребенок, и они не ходили потом три дня в окровавленной рубашке, потому что нет воды ее постирать. Манифестами солидарности, статьями, в которых социально озабоченные мыслители высказывают свою точку зрения, и письмами протеста, подписанными видными деятелями искусства, науки и литературы, сербские артиллеристы подтирают задницу уже три года. Однажды Барлес навлек на себя неудовольствие начальства, отказавшись взять для испанского телевидения интервью у Сьюзен Сонтаг, которая тогда с группой местных актеров ставила в Сараево «В ожидании Годо». «Пошлите кого-нибудь из отдела культуры, — сказал Барлес. — А я безграмотный сукин сын, и у меня встает только на баб и на войну».

Он посмотрел на убитую корову, а потом на собственное отражение в разбитом стекле и скорчил ему рожу. Ужас можно испытать, можно показать, что ты его ощущаешь, но его нельзя передать. Люди думают, что самое страшное на войне — это убитые, раненые и кровь. Но ужас гораздо обыденнее. Он во взгляде ребенка, в отсутствующем выражении на лице солдата, которого должны расстрелять. И в глазах брошенной собаки, которая пробирается за тобой среди развалин, прихрамывая, потому что лапа у нее перебита пулей, а ты, стыдясь самого себя, ускоряешь шаг, потому что тебе не хватает мужества пристрелить ее.

Иногда ужас принимает обличье дома для престарелых в Петринье.

Думая об этом, Барлес подошел к Маркесу, который уже закончил снимать корову и, закинув «Бетакам» на плечо, прикуривал новую сигарету.

— Что там в подвале? — спросил он.

— Как всегда — дети, женщина, старуха. Маркес затянулся, выпустил дым и огляделся, словно искал, что бы еще снять.

— Плохо быть старым, — сказал он, и Барлес понял, что тот имеет в виду войну.

Если Маркес открывал рот и что-то говорил, он всегда имел в виду войну.

— Наступит день, когда этого уже не будет, — ответил Барлес. — Я имею в виду — всего этого, и нас в том числе.

Маркес прикрыл глаза, соглашаясь с ним.

— Я предпочитаю так далеко не заглядывать, — отозвался он, глубоко затянувшись; потом принужденно засмеялся своим дребезжащим смехом. — Поэтому я и выкуриваю по две пачки в день.

— Лучше сигареты, чем дом для престарелых в Петринье.

Барлес понял, что Маркес тоже вспомнил Петринью, потому что губы его жестко сжались, и он уставился куда-то в пространство. Дом для престарелых в Петринье... Это было еще в начале войны, когда хорваты уже эвакуировали половину Петриньи, но сербы ее еще не взяли. Это была классическая территория команчей, и битые стекла похрустывали под ногами журналистов, когда они осторожно пробирались по обезлюдевшему городу, идя по противоположным сторонам и внимательно вглядываясь в развалины, особенно на перекрестках, где вероятность снайперского обстрела увеличивалась. В ногах и в желудках у них было то особое ощущение, которое испытываешь, только находясь на ничейной земле. В разграбленной лавке они запаслись продуктами — шоколад, печенье, бутылка вина. В каком-то большом универмаге Барлес нашел английский шерстяной свитер, который оказался ему впору, а Маркес — галстук-бабочку, который он надел поверх своей рубашки цвета хаки. Потом на разбомбленной площади, где повсюду виднелись пробоины, они записали текст репортажа для «Новостей»: «Мы находимся... Люди покинули город...», — и так далее. Барлес стоял с микрофоном в руке, а Маркес снимал, приникнув одним глазом к видоискателю, а другим внимательно следя за тем, что происходит вокруг — на всякий случай. А уходя, они наткнулись на дом для престарелых.

Они бы прошли мимо, если бы из-за разбитых окон не послышался не то голос, не то стон. В этом здании, которое официально считалось эвакуированным, санитары в спешке отступления бросили на произвол судьбы с десяток инвалидов, и те лежали на носилках в темном коридоре рядом с входной дверью. Они лежали так уже три дня, без еды и питья, а повсюду жужжали мухи и нестерпимо воняло экскрементами. Маркес и Барлес включили фонарики, чтобы лучше разглядеть их, и тут же пожалели — такого лучше не видеть никогда. Двое стариков, по всей видимости, уже умерли. Тем, кто еще дышал, оставалось недолго. Поэтому репортеры выключили фонарики, взяли вспышку и засняли стариков, одного за другим, всех — живых и мертвых. Когда они подходили с камерой, старики съеживались на носилках, покрытых простынями, которые пропитались мочой и дерьмом, сами все в грязи, и, прикрывая глаза от слепящего яркого света вспышки, обезумев от ужаса, тихо стонали, словно молили о чем-то две медленно двигавшиеся тени. Маркес и Барлес работали молча, не глядя друг на друга, и их бледные, искаженные лица были похожи на лики призраков. Они прервались только тогда, когда Барлес остановился, прислонился к стене и его вырвало, но и тут ни один из них не произнес ни слова. Потом они принесли весь запас еды и питья, который был у них с собой, и оставили на носилках. Поднявшись на второй этаж, Барлес и Маркес увидели старика, в комнату которого снаряд влетел в ту минуту, когда он одевался. Старика убило три дня назад, и он так и остался сидеть посреди разрушенной комнаты, застыв в той же позе, весь в пыли, с раздробленными костями, а рядом — ботинки, трогательный картонный чемодан и шляпа. Глаза у старика были закрыты, на лице застыло суровое выражение, голова свесилась на грудь, а на небритом подбородке и грязном воротничке рубашки запеклась вытекшая из носа кровь. Барлес советовал Маркесу снять лицо старика, но оператор предпочел снимать со спины, — как тот был виден из коридора: патетическая серая фигура, неподвижно застывшая у развороченного взрывом окна, рвущее душу одиночество, которым пронизано все в этой комнате: кирпичи, обломки мебели, покореженное железо и остатки несчастливой жизни — чемодан, шляпа, ботинки, белые клочки бумаги, жизни, которая закончилась, когда старик услышал топот бегущих по коридору людей и в потемках начал на ощупь искать ботинки, чтобы спастись.

Ужас... С отрешенным видом Маркес горько усмехнулся своим мыслям. И Барлес усмехнулся, не разжимая губ и глядя в глаза убитой коровы.

## VI

## Мост Маркеса

Они еще стояли на дороге около фермы, когда Ядранка подошла к ним.

— Ну, и что он тебе сказал? — поинтересовался Маркес.

Переводчица пожала плечами; вид у нее был усталый.

— Этот человек совсем запутался; не знает, то ли ему уйти, то ли оставаться.

— Он просто кретин. Всему конец: этому месту, его ферме. Мусульмане придут, независимо от того, взорвут мост или нет.

— Именно это я и пыталась ему объяснить.

За излучиной реки послышались три глухих взрыва, и они посмотрели в ту сторону.

— Нам бы тоже пора, — сказала Ядранка.

Ни Маркес, ни Барлес не произнесли ни звука. Они знали, что не страхом продиктованы ее слова — это просто констатация очевидного факта. В свою очередь, и Ядранка знала, что они это понимают. Все трое знали, что возможность выбраться отсюда без осложнений уменьшается с каждой минутой.

— Что там в Черно-Полье? — спросил Маркес, глядя в сторону моста.

— По радио говорят, что по шоссе еще можно проехать, но они не говорят, сколько времени это будет продолжаться.

Маркес кивнул головой, давая понять, что принял это к сведению. Потом он поменял батарейку и снова отправился на косогор, поближе к мосту.

— Сукин сын, — сказал Барлес.

Он велел Ядранке возвращаться к «ниссану» и зашагал по дороге вслед за Маркесом. Красавчик все так же лежал в кювете, но дымовая завеса над Бьело Полье сгустилась. Выстрелы в селении стихли. Посмотрев в ту сторону, Барлес понял, что чего-то не хватает, как в детской игре «Найди семь отличий», но не мог сообразить, чего именно. Барлес замедлил шаг и сосредоточился; наконец он понял — исчезла церковная колокольня.

«Забавно, — подумал Барлес, — как воюющие, независимо от цвета их кожи, всегда стремятся уничтожить религиозные символы противника». Он вспомнил мечеть Морабитум в Бейруте, в минарете которой было столько пробоин, что она напоминала швейцарский сыр. Или взорванные церкви — православные и католические, — а также разрушенные мусульманские мечети на всей территории бывшей Югославии. В былые времена турки, по крайней мере, просто белили стены собора Святой Софии, а христиане возводили свои храмы на местах андалузских мечетей — резня не мешала им использовать религиозные сооружения противника. Но теперь в ход шли кардинальные решения: артиллерийский обстрел или пластид, заложенный в фундамент, — и все, привет, готово. Взрывчатке, глупости или варварству было наплевать на многовековую историю. Взять хоть сараевскую библиотеку. Или разбомбленную синагогу. Или простоявшую более четырех веков мечеть Бегова, обломками крыши которой была покрыта улица Сарачи. Или мост в Мостаре: за четыреста двадцать семь лет он был свидетелем не одной войны и не одного нашествия, но он не выдержал и часа хорватской бомбардировки. Стоя на восточном берегу, Барлес снимал его развалины в тот день, когда снайпер выстрелом в голову убил женщину; потом он попал в спину Марии, красивой смуглой девушки, сотрудницы УНИСЕФ, и стрелял в троих испанских миротворцев, которым под огнем пришлось вытаскивать Марию. А независимый корреспондент, пристроившись среди развалин, снимал все это через телеобъектив. Благодаря ему Мария прославилась, миротворцы получили медали УНИСЕФ, а журнал «Пари матч» опубликовал его снимки на пяти страницах. Убитая женщина лежала на животе у изрешеченной пулями стены; рядом, с искаженными лицами суетились миротворцы, но женщине лицо разнесла разрывная пуля, поэтому ее похоронили, так и не опознав, неподалеку от того уже не существующего моста, который дал название городу, — most на сербско-хорватском означает «мост», — хотя теперь его и городом-то назвать было нельзя. Отчего все это походило на шутку дьявола.

Шагая по середине дороги, Барлес взглянул направо, на лес, но хорватских солдат не было видно. «Наверное, спрятались, — подумал он. — Или дали деру». Маркес, заняв выжидательную позицию, лежал на косогоре в своей прежней позе: «Бетакам» нацелен в сторону моста, а рядом рюкзак и каска Барлеса. Не дойдя до Маркеса метров десяти, Барлес снова посмотрел в ту сторону, где еще недавно виднелась колокольня. Потом он перевел взгляд на дорогу за мостом и увидел, как из-за ее поворота выползает первый танк.

Танк всегда вызывает замешательство особого рода: эта зловещая масса металла движется с лязганьем и скрежетом, как древний дракон. Танк — самое неприятное, с чем можно столкнуться на войне, особенно если это вражеский танк. Даже если его подбили и он ржавеет, неподвижно застыв на обочине, все равно вид у этого творения рук человеческих крайне зловещий. Танк вызывает атавистический, иррациональный ужас, и при виде его всегда хочется пуститься наутек. В восемьдесят втором Барлес, тогда только что приехавший с Мальвин, провел восемь часов с группой палестинцев, пытавшихся подорвать танк. Эти пять молодых ребят, вооруженные РПГ-7, дрались в предместье Борх-эль-Барахне на юге Бейрута. Рядом с жилым кварталом стоял израильский танк, и ребята, старшему из которых было меньше семнадцати, все время старались подбить его из гранатомета. Они подбирались к нему все ближе и ближе, прячась за развалинами домов, и стреляли кумулятивными снарядами, которые или ложились рядом, или скользили по броне, не причиняя ей никакого вреда. Наконец, танк, как разбуженное чудовище, медленно повернул свою башню и, выстрелив только один раз, сразу уложил замертво двух палестинцев. Тут же к этому месту бросилась израильская пехота, открыв шквальный огонь из винтовок и автоматов, и тогда Филипот, фотограф из «Сигмы», сказал, что бессмысленно дать себя убить из-за какого-то фото, и бегом бросился оттуда; за ним бросились Барлес и все остальные. Они бежали, не останавливаясь, до самой гостиницы «Коммодоре», в баре которой их ждал Томас Альковерро из барселонской «Вангуардии», чтобы в который раз рассказать, как жена ушла от него к Пабло Магасу из мадридской «АБЦ».

Это часто случалось с людьми их профессии. Когда ты, например, бежал сломя голову от ливанского танка в Нджамене, твоя законная половина обивала пороги судов в Барселоне, добиваясь развода. Но надо признать, что мало кто из военных корреспондентов сильно обижался на это: ведь, в конце концов, пока они изображали из себя героев, перебегая под огнем через улицу, и все такое, женщины вели ежедневную битву со школой детей, счетами за телевизор и газ и с одиночеством. Но Томас Альковерро принимал это близко к сердцу и никак не мог успокоиться. Он дольше всех корреспондентов проработал на Среднем Востоке и как-то ночью на пляже в Объединенных Эмиратах признался Барлесу, что надеется умереть в Бейруте, потому что в Испании у него уже не осталось знакомых. То же происходило и с Хулио Фуэнтесом из «Эль мундо», о котором говорили, что, когда он был молодым и красивым, то затащил в койку Бьянку Хаггер во время войны в Никарагуа, или это она затащила его в койку, — тут версии разнились. Потом у Хулио, как у Томаса и у многих других, была невеста, но она, устав оттого, что он все время жил в Сараево, сказала ему: «Все, привет, будь счастлив». После таких передряг для Хулио ничего не существовало, кроме войны; он грезил ею наяву, словно каждый день впрыскивал войну себе в вену шприцем. Поэтому Педро Хота, его шеф, решил послать Хулио в Италию, где тот теперь носил галстук и ездил на спортивной машине; и даже завел новую невесту. Но иногда по ночам у Хулио ехала крыша, и он просыпался в Боснии. Это был их обычный удел, как говаривал старина Легинече, — нервные срывы, разводы и запои.

Барлес только открыл рот крикнуть Маркесу, что на дороге показались танки, как раздался первый орудийный выстрел. Теперь уже стреляли не наобум, — это был точный прицельный огонь по местам, прилегающим к мосту. Барлес бросился на землю, услышав сначала, как снаряд со звуком рвущейся ткани просвистел над его головой, а потом и сам взрыв, прогремевший за фермой. «Ниссан», — подумал он. — Хоть бы эти сукины дети не попали в «ниссан». Потом он подумал о Ядранке: «Хоть бы эти сукины дети не попали в нее».

Он поднялся, чтобы бегом пересечь последние десять метров, отделявшие его от Маркеса, и, поднявшись, увидел, что от кромки леса быстро бегут двое хорватских подрывников. В руках у них были автоматы Калашникова, и они очень торопились. Танк на другом берегу двигался медленно и неуклюже, словно шла замедленная съемка, но Барлес знал, что это оптический обман, вызванный расстоянием, — танки всегда движутся быстрее, чем хотелось бы.

Он с разбегу растянулся рядом с Маркесом на косогоре, и именно в эту секунду над их головами в том же направлении пролетел второй снаряд. Камера оператора была включена, и он, не переставая, снимал общий вид моста, но левым глазом следил за приближающимся танком, который пока не попадал в кадр; размытые маленькие фигурки виднелись за ним на дороге.

— Пехота, — заметил Барлес.

— Вижу, — отозвался Маркес.

К ним подбежали двое хорватов. Один из них, совсем молоденький, весь взмок в огромном бронежилете — такими пользуются подносчики снарядов — с длинным, болтающимся выступом впереди, который прикрывал его почти до колен, мешая парню бежать. Другой был здоровым усатым мужчиной. Оба были сильно возбуждены и, добежав до середины косогора, стали отчаянно размахивать руками.

— Они говорят, чтобы мы убирались, — перевел Барлес.

Маркес, внимание которого было приковано к мосту и к камере, даже не потрудился ответить. Тогда тот подрывник, что помоложе, подбежал поближе и подергал Маркеса за ботинок.

— Иди в жопу, — отозвался тот.

Третий снаряд угодил между косогором и кромкой леса, — точно в то место, откуда только что пришли подрывники, и поднятая взрывом земля вперемешку с травой посыпалась на дорогу. Все бросились ничком, плотно прижавшись к земле, — все, кроме Маркеса, не спускавшего глаз с моста. Наплевав на то, кто что скажет, Барлес надел каску. «Glupan», — сказал молодой хорват, глядя на Маркеса, что в переводе с сербско-хорватского означает что-то вроде «Ну и дурак», — и оба солдата бросились вдоль дороги к ферме, стараясь держаться под прикрытием косогора.

— Они сматываются, — сказал Барлес.

Ему тоже ужасно хотелось убежать, но есть вещи, которых делать нельзя. Прилаживая ремешок каски, он увидел, что из леса появились еще двое хорватских солдат, которые побежали через поле по направлению к ферме. Теперь с того берега стрелял пулемет, и за рекой возникали красные трассирующие линии; казалось, что, приближаясь, они набирают скорость, как разделительная полоса на шоссе, когда ты мчишься по нему на полной скорости.

— Дерьмо-дерьмо-дерьмо, — сказал Барлес.

Красная трассирующая линия прошла высоко, метрах в десяти над их головами, и, уйдя влево, закончилась где-то около Красавчика. С точки зрения пиротехники, война была захватывающим зрелищем. Когда в сентябре восьмидесятого иранские «Фантомы» впервые бомбили Багдад, Барлес, захваченный этим зрелищем, всю ночь провел на террасе гостиницы «Мансур» вместе с Пепе Вирхилио Кольчеро из газеты «Йа» и с Фернандо Доррего из «АБЦ». Они лежали на спине и трепались, глядя, как уходят вверх трассирующие линии и ракеты земля — воздух. Одиннадцать лет спустя Барлес и Пепе Кольчеро смотрели в Дахране, как над Саудовской Аравией американские комплексы ПВО «Патриот» сбивали иракские «Скад», но тогда рядом с ними лежали противогазы. Война в заливе была необычной: пять месяцев ожидания, месяц воздушных налетов и только неделя наземных операций. В их профессии издавна существовал неписаный закон: всю дистанцию военные корреспонденты идут вместе, но на финишной прямой они расходятся, и каждый работает в одиночку. Так было и в ту ночь, когда началось наступление союзников: все журналисты в пресс-центре и в гостинице «Меридьен» в Дахране тщательно скрывали свои планы. «На днях попробую съездить в Кувейт», — говорил кто-то. «Нет, я предпочитаю подождать», — возражал другой, и всё в том же духе. Но стоило им пожелать друг другу спокойной ночи, как все съемочные группы — Пьер Пейро и его ребята из Европейского бюро, Ахилл д’Амелиа, Национальное Радио Италии, ТВ-3, ТВИ и все остальные — погрузили в свои внедорожники запас воды, питья, горючего, карты, компасы и, прикрепив опознавательные знаки союзников — перевернутую букву V по бортам и яркую оранжевую полосу на крыше, — отправились через пустыню на север, лавируя между минными полями. На следующий день все они встретились в Эль-Кувейте, обросшие щетиной и запыленные, но никто не удивился этой встрече и все восприняли ее как нечто само собой разумеющееся, без малейшего удивления и без упреков, как и было принято в племени военных корреспондентов. Барлес и Хосеми Диас Хиль приехали как раз вовремя, чтобы успеть снять последние бои между арьергардными иракскими частями и американскими войсками; сняли они и разграбленный магазин фирмы «Ролекс», где повсюду валялись пустые коробки, и развалины гостиницы «Шератон», темный разбомбленный «Хилтон», бросавшихся им на шею кувейтцев, пылающий горизонт, горящие нефтяные скважины, черное от дыма небо... И пока они снимали, в магнитоле их «лендкруизера» крутилась кассета, и Маклеан пел свою песню «Винсент», а по обеим сторонам дороги дымились иракские танки.

Барлес увидел, как в Бьело-Полье из-за поворота дороги выполз еще один танк, и понял, что мосту осталось жить не больше минуты. Не поднимаясь с земли, он оглянулся, прикидывая, каким путем лучше отступать. Под обстрелом нельзя бежать по прямой, и перед тем как сделать первый шаг, следует в уме прикинуть свой путь — от этого камня к тому дереву, оттуда до кювета, помня старый принцип: «Never in the house» — только не в дом. Когда ты убегаешь от чего-то, дома могут оказаться опасными ловушками: ты не знаешь, что ждет тебя внутри, и, кроме того, рано или поздно пули пробьют стены, а снаряды обрушат их тебе на голову. Ты входишь, думая, что спасен, а на самом деле, чтобы уже никогда не выйти оттуда.

Крупнокалиберный пулемет стрелял с равными интервалами, поэтому открытый отрезок дороги от них до Красавчика исключался. Наверное, лучше всего перебежать через косогор, как сделали двое хорватов, а потом, очень быстро, мимо фермы к повороту дороги, где стоял «ниссан». Барлес закинул рюкзак на спину и стиснул зубы, ощущая неприятную дрожь в желудке и в ногах. «Стар я становлюсь для этого дела», — подумал он. Лучше быть молодым, верить в плохих и хороших, иметь крепкие ноги и быть участником событий, а не просто свидетелем. Начиная с сорока, ты уже безнадежно стар для этого ремесла.

Он наклонился, чтобы через плечо Маркеса взглянуть на индикатор батарейки, и тут все произошло почти одновременно. Металлическая обшивка моста зазвенела от пуль, прямо посреди дороги за их спинами разорвался снаряд — Красавчика убило в третий раз, подумал Барлес, — а мост слегка приподнялся, задрожал, и под ним появилось оранжевое сияние. Барлес, ничего не услышавший, почувствовал, как поток горячего и плотного воздуха, такого плотного, словно это был твердый предмет, ударил его по груди, лицу, по барабанным перепонкам, отозвался в легких, в носу и в голове, и только потом докатился до него сухой звук, что-то вроде «крах-бам», и реку, и сам мост мгновенно заволокло дымом, а с неба градом посыпались металлические осколки. И, взглянув на Маркеса, Барлес увидел, что тот глазом приник к видоискателю, а губы его расплылись в широченной улыбке.

А потом мост осел. Рассвирепев, мусульмане столпились на том берегу. Барлес увидел, как четверо последних хорватских подрывников выбежали из леса и бросились к ферме.

— Все, пошли, — сказал Маркес.

— Снял?

— Снял.

Пулеметные пули так и прыгали по асфальту. Барлес потихоньку отполз вниз по косогору, зная, что Маркес, с «Бетакамом» на плече, продолжает снимать. Наверху, на дороге, разорвался еще один снаряд. Пригнувшись и стараясь держаться под прикрытием косогора, они сделали крюк метров в тридцать, а потом, перебравшись через поток грязи на месте упавшей бомбы — «Хорошенькое озерцо», — подумал Барлес, — выбрались на дорогу. Перед этим Барлес взял камеру, которую протянул ему Маркес.

— Танки снял?

— Они не входили в кадр, а переводить камеру я боялся.

— Да ладно, неважно.

Выбравшись на дорогу, Барлес снова протянул Маркесу его «Бетакам». Пулемет продолжал строчить как сумасшедший, невзирая на дымовую завесу, которая, впрочем, начинала рассеиваться. «Хоть бы этому сукину сыну не взбрело в голову начать снимать, — взмолился про себя Барлес. — Хоть бы этому сукину сыну... Хоть бы...».

Встав посреди дороги, словно он был на мадридской Гран-Виа, Маркес невозмутимо поднял «Бетакам» и еще раз снял рухнувший мост. Он снял общий вид, а потом одну из секций, которая вздыбилась, как часть разводного моста. Барлес отчетливо увидел, как одна из пулеметных пуль, рикошетом отскочив от асфальта, упала прямо около ботинка Маркеса.

— Все, привет, — сказал Маркес.

Это означало, что больше снимать он не собирается, и они снова побежали. Бежать пригнувшись, когда в тебя стреляют, очень трудно: сильно устаешь, и тут же начинают болеть мышцы, особенно если твои джинсы пропитались влагой и грязью. Около сорванной с петель дверной решетки они остановились перевести дух. Убитая корова все так же лежала во дворе, дверь дома была распахнута настежь, и нигде не было ни души. «Надеюсь, что этот кретин в конце концов убрался, — мелькнуло в голове Барлеса. — И что Ядранка ждет нас в „ниссане“».

— Если повезет, доберемся до места к «Новостям», — сказал Маркес.

Барлес был готов довольствоваться меньшим — добраться до «ниссана». Они побежали вдоль дома, прижимаясь к стене; снаряды рвались совсем близко, по другую сторону дороги. Обогнув дом, они наткнулись на четырех хорватских подрывников, последними вышедших из леса. Те сидели, прижавшись к стене, и курили, глядя на дорогу; они не решались преодолеть ее последний отрезок, до поворота.

— Лучше оставайтесь здесь, — посоветовал один из них, здоровенный хорват, с поседевшими усами. — Много бум-бум.

Все они выглядели очень усталыми. Тот, что заговорил с ними, с любопытством взглянул на камеру и, жестикулируя, изобразил взрыв.

— Много бум-бум, — сказал он и ткнул пальцем в молодого парня с наголо стриженной головой, который рукой показал, как он опустил ручку взрывного устройства.

— А вот и герой дня, — сказал Барлес, и Маркес вскинул камеру на плечо, чтобы снять парня, который победно сложил пальцы буквой V.

— Победа, мать твою, — пробормотал Маркес.

Потом он выключил камеру и закурил.

— Пошли, — сказал Барлес.

Они смотрели на тот участок дороги, который им надо было пересечь, чтобы добежать до стоящего за поворотом «ниссана». По счастью, пулеметные пули сюда уже не долетали.

— Ты оставаться, — уговаривал хорват. — Много опасный.

Барлес посмотрел на часы. Пятнадцать минут до Черно-Полье и почти час до места трансляции, если все пойдет гладко. Пейро выкроит им несколько минут спутниковой связи, и если не монтировать, то они тютелька в тютельку успеют к выпуску новостей. А если удастся сэкономить несколько минут на дороге, и Франц или Салем окажутся свободны, то можно и отмонтировать, а текст он набросает в машине, пока Маркес сидит за рулем. Барлес уже начал придумывать текст к снятому Маркесом взрыву моста.

«Сегодня утром началось наступление мусульман в Центральной Боснии...» Наверняка Мигель Анхель Сакалюга, заместитель заведующего отделом информации, скажет Матиасу Пратсу и Анне Бланке, чтобы те открывали выпуск их репортажем. Тогда надо дать что-то более конкретное, что-то про мост, — «Этот мост взлетел на воздух сегодня утром. Его взорвали, чтобы остановить наступление мусульманской армии...». Что-то в этом духе. А лучше так: «Отступая, хорватская армия взрывает мосты». Барлес вытащил из кармана блокнот, чтобы записать эту фразу. Подняв глаза, он увидел, что Маркес смотрит на него.

— Ставлю доллар, что мы доберемся, — сказал оператор.

— До места трансляции?

— До «ниссана».

Барлес рассмеялся. Он любил этого сурового небритого человека, который был помешан на мостах и на том, чтобы успеть заснять их, пока они взлетают на воздух.

— Идет. Вот тебе доллар.

Точно на повороте дороги взорвался снаряд, и все бросились на землю. Барлес считал периодичность выстрелов и, взглянув на Маркеса, не отрывавшего глаз от часов, понял, что тот занят тем же. Интервал между выстрелами был около сорока пяти секунд. Учитывая их груз — «Бетакам» и рюкзак, — им нужно от двадцати до тридцати секунд, чтобы пробежать этот отрезок и скрыться за спасительным поворотом.

— Ну, что? — спросил он у Маркеса.

— Можем влипнуть, — ответил тот.

Они дождались следующего выстрела — сорок две секунды. «Ну что ж, я прожил неплохую жизнь, — подумал Барлес. — Как это там? „Я видел то, что не увидеть вам: пылали корабли за Орионом, и пряталось солнце в бухте Тангейзер...“ Когда вернемся, не забыть поменять батарейки в „Сони“ и выстирать пару грязных рубашек, что валяются в гостинице». Барлес взглянул на Маркеса, пытаясь угадать, о чем думает тот перед тем, как подняться и побежать под обстрелом. Может быть, он представляет лица своих дочерей или жалеет о том, что в жизни его было так мало женщин... А может, он думает о тысяче двухстах долларах, которые ему платят за такую работу. А может, он вообще ни о чем не думает.

Снова снаряд — сорок девять секунд. Еще не осели его последние осколки, как Барлес положил руку на плечо Маркеса.

— Там увидимся, — сказал он.

— Где это — там?

— Не знаю. Там.

Маркес рассмеялся своим дребезжащим смехом состарившейся трещотки. И тогда они вскочили и бросились бежать по дороге.

*Сараево, август 1993 г. Мостар, февраль 1994 г.*

1. Здание в Мадриде, где расположено Национальное Радио и Телевидение. — Здесь и далее прим. перев. [↑](#footnote-ref-1)
2. Все (итал.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Нет солдат и нет (сербско‑хорватский). [↑](#footnote-ref-3)
4. Я есть (итал.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Крайний срок (англ.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Народный мадридский танец. [↑](#footnote-ref-6)
7. Имеется в виду музыкальное произведение Иоганна Штрауса (отца) в честь фельдмаршала Йозефа Радецкого, символа военной мощи династии Габсбургов. [↑](#footnote-ref-7)
8. Не снимать (англ.). [↑](#footnote-ref-8)
9. Старинный испанский город неподалеку от Мадрида. [↑](#footnote-ref-9)
10. Около этого селения на севере Франции во время Столетней войны войска английского короля Эдуарда III разгромили армию французского короля Филиппа VI. [↑](#footnote-ref-10)
11. Второго мая 1808 г. жители Мадрида восстали против французских оккупантов; восстание было жестоко подавлено. [↑](#footnote-ref-11)
12. В 1929—1945 гг. фашистская организация хорватских националистов. [↑](#footnote-ref-12)
13. Члены антинациональных группировок в Югославии во время Второй мировой войны. [↑](#footnote-ref-13)